

ИЛЬЯ АЛЕНСКИЙ

СПРАВКА

**БОЯРИН
БОБРОВ**

о праве лечить всякую тварь, мычащую и не мычащую

Ф. И. О.: *Бобров Матвей*Должность: *архимаг-внеранговый
ветеринар*Стаж: *600 лет 0 дней*Сердце: *слабое, но заводится*Пациенты: *коровы, козы, бояре (по обстоятельствам)*Особые приметы: *палка. Не посох. Точно палка.*Основание: *так получилось*

Проверил:

Тетерев (уклон есть)

Илья Аленский

**Боярин Бобров:
Ветеринар поневоле**

«Автор»

2026

Аленский И.

Боярин Бобров: Ветеринар поневоле / И. Аленский — «Автор», 2026

За шестьсот лет внеранговый архимаг Лихослав перепробовал всё. Он раздавал благословения, принимал делегации и устраивал на работу богов, которые явились вызвать его на дуэль. В его списке дел оставался всего один пункт: ритуал, после которого душа улетает неизвестно куда. Однажды вечером он его вычеркнул. Очнулся он в эконом-классе ночного рейса, в теле сельского ветеринара Матвея Боброва. Сердце у Матвея больное с рождения, в рюкзаке диплом, в проходе террористы с пистолетом. Скучно в этом мире не было ни минуты. Сначала его допрашивал Корпус Благодетеля, потом он провалился в изнаночный карман за казённой дверью, а дома, в родной Гусевке, начался мор. Ветеринар привык лечить коров. Архимаг привык решать проблемы одним жестом. Теперь им вдвоём придётся спасти боярский род, у которого долгов больше, чем живых наследников.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	23
Глава 5	29
Глава 6	36
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Илья Аленский

Боярин Бобров: Ветеринар поневоле

Глава 1

Утро в резиденции внерангового архимага Лихослава начиналось так же, как заканчивался вчерашний день: никак. Свет здесь не восходил - он просто присутствовал, сочился из-под купола ровным, слегка усталым сиянием Источника, будто служба забыл притушить светильник в храмовой кладовой и махнул рукой: и так сойдёт. Вдоль зала строгими рядами стояли колонны из окаменевшего света - по преданию, столпы мироздания. Сейчас на ближайшей к дверям колонне висела доска с расписанием визитов. Сегодняшняя запись, выведенная аккуратным почерком секретаря, гласила: «Первый звон - делегация, седьмой хребет, изнанка. Тема: неурожай». Ниже, другим почерком, приписка: «Опять».

Лих лежал. Не восседал на троне, не парил в церемониальной позе - лежал на низком диване сбоку от тронного возвышения, закинув ногу на подлокотник, и разглядывал потолок, как смотрят люди, у которых давно нет вопросов ни к потолку, ни к жизни. У входа шуршали песочные часы - не артефакт, а обычные, деревянные, купленные когда-то на ярмарке ради звука. Тишину они не нарушали, а подчёркивали.

Двери отворились без скрипа - хотя бы о петлях здесь заботиться умели. Делегация вошла плотной группой: семеро в вышитых накидках, с посохами, которые явно три дня начищали к визиту. Впереди - старейшина со свитком в обеих руках: так держат вещь, которую боятся уронить и боятся, что отберут.

- Великий... - начал он, и в зале случилось редкое явление: Лих сел.

Не вскочил - просто спустил ноги с дивана и посмотрел на гостей, как на гонца, принёсшего свиток не в тот притвор.

- Сколько репетировали?

Старейшина моргнул.

- Простите?

- Речь. - Лих кивнул на свиток. - «Великий, снизойди, узри страдания» - дальше я примерно представляю. Часа два на одно «снизойди» ушло? Неудобное слово, я в курсе. Сам бы заменил.

Кто-то за спиной старейшины издал звук, похожий на «э», и осёкся: о «снизойди» и правда спорили едва ли не полдня.

- Дело в неурожье, - старейшина попытался спасти положение. - Земли на изнанке седьмого хребта третий сезон родят всё меньше. Мы просим благословения.

- Не просите. - Лих зевнул, прикрыв рот тыльной стороной ладони, - жест не грубый, а совсем домашний. - Попросят, когда неизвестно, помогут или нет. Тут известно заранее.

Он поднял руку и махнул в сторону дальней стены - лениво, как отгоняют муху, а не творят чудо. Полтора мгновения ничего не происходило. Затем стена дрогнула, и в ней, как в воде, проступили поля: зеркальная арка, через которую Лих когда-то приглядывал за владениями, нехотя показала то, что лежало в трёх днях пути. Старейшина ахнул, следом ахнула вся делегация - слаженно, как хор, долго репетировавший именно этот вздох.

- Зерно... - прошептал кто-то сзади. - Наливается прямо на глазах!

- Ну наливается, - без энтузиазма согласился Лих. - Дальше что?

Делегация синхронно рухнула на колени. Свиток выпал и покатился по полу с тихим обиженным шорохом. В задних рядах уже бормотали благодарственную молитву - судя по выведенным паузам, тоже заготовленную на случай, если чудо всё-таки состоится.

- Вставайте, - устало сказал Лих, будто просил вытереть ноги у порога. - Это не чудо. Это утечка избыточного Источника. За сутки у меня его скапливается столько, что девать некуда, вот и стравливаю туда, где от него хоть какая-то польза.

Старейшина поднял на него взгляд, полный священного недоумения, - как человек, которому только что объяснили устройство вселенной словами «ну, так получилось».

- Но урожай... три года не рос...

- В этот раз нальётся, - отрезал Лих. - А на будущий опять сгниёт. Беда у вас не с благословением, а с дренажом. Вода застаивается в низине за хребтом, корни гниют. Магии там делать нечего - там канаву копать надо, а не молиться. В следующий раз, прежде чем идти ко мне с речью, наймите пару человек с лопатами. Выйдет быстрее и, что характерно, без меня.

Пауза, которую делегация берегла для торжественного финала, наступила - но совсем не тем концом. Старейшина поднялся, подобрал свиток, машинально отряхнул его, хотя пол сверкал чистотой, и после долгой внутренней борьбы решился:

- Значит... нам стоит вас поблагодарить?

- Поблагодарите того, кто первым додумается до канавы. - Лих снова завалился на диван. - Секретарь на выходе даст вам список толковых землекопов. У него всегда наготове - вы не первые.

Делегация вышла тем же строем, только заметно тише - как выходят люди, которым обещали чудо, а вручили инструкцию по мелиорации. Песочные часы продолжали сыпаться, отсчитывая утро, неотличимое от позавчерашнего.

Лих закрыл глаза. До обеда, если верить доске, оставалась ещё одна запись - что-то про бога реки, обидевшегося на кружку. Он вздохнул - не как перед подвигом, а как перед визитом акведучного мастера, который опять не явится к назначенному звону.

К полудню воздух в зале погустел - в самом буквальном смысле: у входа стало влажно, будто кто-то протащил сквозь двери реку целиком и забыл закрыть за собой шлюз. Колонны покрылись испариной, песок в часах отсырел, встал комом, и их заклинило.

Лих, лежавший в той же позе, приоткрыл один глаз.

- Ну наконец-то, - сказал он потолку. - А то я уж забеспокоился, что день пройдёт без представления.

Двери не открылись - распахнулись, с тем драматизмом, который приберегают для великих выходов и напрасно тратят на визиты вежливости. В проёме, в клубах пара и мелких водоворотках, возник молодой бог реки - хозяин притока в трёх днях пути, до сегодняшнего дня напоминавший о себе крайне редко.

Выглядел он внушительно: доспехи из спрессованной воды, за плечами - плащ из тумана, картинно колыхавшийся без всякого ветра. На подготовку выхода ушло, судя по эффектам, не меньше полудня - примерно как у делегации на «снизойди».

- Лихослав! - прогремел гость голосом, в котором оскорблённое достоинство пытались смешать с раскатами грома, а вышло нечто среднее - и вдобавок простуженное. - Ты нанёс моему роду оскорбление, какого не знали века!

Лих сел - опять не вскочил, просто сел, как садятся, когда посреди трапезы стучит привратник.

- Так. Дай угадаю. Дело в кружке.

Бог реки сбился с торжественного ритма: он явно готовился долго излагать суть претензии, а её угадали с первой попытки.

- Дело в кружке! - подтвердил он, снова набирая обороты. - Ты использовал мой храм - храм, воздвигнутый в мою честь три столетия назад, - как подставку! Под кружку! С чаем!

- С травяным сбором, если быть точным, - поправил Лих. - Прошлой весной обходил твой приток. Храм у тебя по колено, крыша плоская - грех не поставить. Заваривается, кстати,

плохо: вода у тебя слишком минеральная, привкус даёт. Но подставка - да. Удобная высота, ровная крыша. Я, признаться, оценил архитектора. Толковый был специалист.

- Ты... - Гость на мгновение завис, не зная, что ответить на комплимент архитектору посреди собственной обвинительной речи, но быстро вернулся в колею. - Ты опозорил меня перед всей рекой! Вызываю тебя на дуэль! Здесь и сейчас, по древнему праву обиженного божества!

Он выбросил вперёд руку, и в ней возник хлыст из перекрученной, ревущей воды - шумно, эффектно, в расчёте на публику, которой в зале не было, если не считать самого Лиха.

Лих оглядел хлыст, как оглядывают подтёкший свод в казённой келье: без интереса, но прикидывая масштаб будущих хлопот.

- Смотри, какое дело. Дуэль - это шум, разрушения, а потом кто-то чинит колонны и сушит ковры. Я, скорее всего, выиграю - не из вредности, а чисто статистически. И останешься ты без храма, без репутации и без хлыста, который, к слову, уже подтекает вон в том углу.

Бог реки скосил глаза: в углу и правда натекла приличная лужа.

- Это часть эффекта! - быстро сказал он.

- Конечно. Так вот, встречное предложение. Мне нужен толковый смотритель за храмовым хозяйством на всём западном участке. Крыши текут, подношения разворовывают жрецы среднего звена, отчётности нет никакой. Работа непыльная, оклад фиксированный, храм остаётся за тобой - хочешь, вешай на него табличку «Не подставка», возражать не стану.

Хлыст с шипением втянулся обратно в ладонь, будто и сам смутился.

- Ты предлагаешь мне... должность?

- Управляющего храмовым хозяйством, - кивнул Лих. - С печатью, между прочим. Настоящей, которой можно что-то заверять, а не церемониальной. Три века ходить в обиженных богах реки без внятной задачи - так себе карьера, уж поверь. А тут занятость, польза, отчёты секретарю. И я, честно говоря, давно ищу, кому спихнуть этот участок. Там правда бардак.

Бог реки молчал - молчанием существа, явившегося мстить за поруганную честь и обнаружившего перед собой должность с жалованьем, столом и храмовым пайком. Пар вокруг оседал, туманный плащ обмяк и повис, как забытое на верёвке бельё.

- Это... - выдавил он наконец. - Неожиданно приземлённое предложение для существа твоего уровня.

- Я и сам приземлённый, - пожал плечами Лих. - Просто масштаб у нас пока разный. Подумай до вечера, вакансии открыта. А за кружку извини, если задело. Но подставка правда была отличная.

Гость ещё несколько мгновений стоял в дверях, пытаясь понять, в какой момент триумфальный вызов превратился в собеседование. Не найдя достойного ответа, буркнул что-то - не то согласие, не то ругательство - и растворился в облаке пара, оставив лужу и лёгкий запах реки.

- Возьмёт, - уверенно сообщил Лих потолку, снова откидываясь на диван. - Дня три подумается для приличия и возьмёт.

Разбухшие песочные часы ответили жалобным скрипом.

К вечеру Источник, как обычно, пошёл на убыль: солнца на Керне отродясь не водилось, и сутки здесь отмерял его прилив и отлив. В личных покоях Лиха, в глубине резиденции, куда сияние не добиралось и днём, стоял уютный полумрак, разбавленный десятком мелких огоньков, - все, разумеется, не по прямому назначению.

Меч, которым, по преданию, был сражён третий претендент на титул Хранителя Изнанки, торчал в стене у изголовья и служил ночником: клинок мягко фонил остаточной магией, и этого хватало, чтобы не спотыкаться о разбросанную по полу утварь. На низком столике лежал клинок помоложе - родовая реликвия давно вымершего дома, чьё имя Лих даже не пытался запомнить, - и служил открывалкой: лезвие идеально подходило под пробку, а гравировка удобно ложилась в ладонь.

Лих сидел на полу, привалившись спиной к дивану, и не делал ровным счётом ничего. Просто вечер. Просто ещё один. Неурожай и канава, кружка и вакансия - сегодняшний день отличался от вчерашнего разве что мокрым пятном в углу зала, единственным доказательством, что время вообще двигалось.

Он щёлкнул пальцами, и из ниши в полу выплыла бутылка, покрытая пылью веков в самом буквальном смысле: вино из погребов вечности не портилось, не выдыхалось и не заканчивалось - когда-то это казалось удобством, теперь ощущалось ещё одной формой застоя. Открыл родовой открывалкой, налил в первый попавшийся сосуд - им оказался кубок, дар благодарного полубога, - и сделал глоток.

Вкус был безупречен. Как всегда. Как шестьсот лет подряд.

Мысль, которая в такие вечера обычно мелькала и уходила, на этот раз задержалась. Мысль старая, изрядно поношенная - он в очередной раз вытащил её из дальнего угла сознания и осмотрел, как осматривают давно валяющуюся без дела вещь: выбросить или наконец применить по назначению.

Список дел за шестьсот лет у него, в сущности, был один, и последний пункт в нём не двигался с тех пор, как список был заведён. Ритуал Схождения. Лих придумал его, когда ещё интересовался, что лежит за пределами Керна, - не соседние земли и не сопредельные миры, куда долетала обычная телепортация, а то, где сама Мультивселенная теряла берега. Расчёт был безупречен: душа отделяется от тела, теряет привязку к точке отправления и несётся без карты и без цели, пока не найдёт зацепку. Зацепкой могло стать только место, освободившееся в тот же самый миг: живое тело чужую душу не впустит, давно мёртвое - не удержит. Опасность была ровно одна: результат нельзя ни предсказать, ни отменить на середине. Куда-то улетишь. Куда - не скажет никто, включая улетающего.

Поэтому он ритуал и не проводил. Не из страха - страх давно вышел из обихода вместе с поводами бояться чего-то конкретного, - а из нежелания разгребать последствия. Окажешься неизвестно где, неизвестно в чём, придётся выстраивать быт с нуля и объяснять кому-то, кто ты такой. А объяснять Лих не любил сильнее, чем лететь в неизвестность. Проще было отложить. На следующий век. Потом на следующий - который прошёл ровно так же.

Он сделал ещё глоток, посмотрел на меч-ночник, на открывалку, на пятно сырости, просочившееся, кажется, даже сюда, - и понял, что вечер сложился в ту редкую конфигурацию, при которой скука перестаёт быть фоном и становится единственным событием дня. Хуже того - последних лет. Десятилетий. Веков, если совсем начистоту.

Решение пришло без внутренней бури и прощальных взглядов на прожитые века, о которых любили рассказывать менее сдержанные коллеги по внерангу. Он просто вычеркнул пункт из списка - мысленно, бумажного списка не существовало. Вышло так же буднично, как если бы он вычеркнул «починить скрипящую половицу в третьей зале», которую тоже откладывал лет сто. Отложи он и это ещё на век - список так и остался бы с одним незакрытым пунктом, пока сам не стал бы от него неотличим.

Лих поставил кубок на стол и впервые за вечер поднялся с пола.

Одно дело он всё-таки сделал руками. Вышел в тёмный зал к доске, взял грифель и под утренним «Опять» дописал столбиком: «Вакансию управляющего держать до конца недели - придёт. Список землекопов отдать седьмому хребту даром. Жалованье всем, кто при доме, - за год вперёд, из казны. Меня не ждать». Подумал и приписал: «Спасибо». Слово вышло корявым - писать его приходилось редко. Секретарь служил при нём больше века, и уйти, не оставив распоряжений, было бы свинством, которого не оправдывала никакая скука.

Дальше не было ничего интересного: череда действий, продуманных до последнего жеста и сотни раз отрепетированных вхолостую, без последнего шага. Ни дополнительного света, ни свидетелей. Лих сел обратно, теперь уже выпрямив спину, и позволил наработанному за века начаться без лишних усилий.

Последнее, что он отчётливо помнил в теле, - лёгкое, совсем не драматичное ощущение, будто встаёшь с продавленного кресла: что-то внутри освободилось и потянуло вбок, прочь от привычной тяжести плоти. Тело осталось сидеть - целое, невредимое, попросту опустевшее.

А душа, не имея больше ни точки отправления, ни точки назначения, понеслась по Мультивселенной, как листок, сорванный сквозняком с доски расписаний: совершенно никуда - и в то же время в единственно возможном для себя направлении.

Борт до Красноярска, ближайшего к Гусевке аэропорта, был из тех рейсов, где не ждут ничего примечательного: за полночь, треть салона спит, стюардессы неспешно катят тележку с напитками, за иллюминаторами - чернота без единого огня. Матвей Бобров сидел у окна в предпоследнем ряду, зажав между коленями рюкзак с дипломом Московской ветеринарной академии, держал на нём учебник по акушерству крупного рогатого скота, так и не дочитанный за пять лет учёбы, и в третий раз прокручивал маршрут: аэропорт, автостанция, попутка до Гусевки. Из дома он уехал той осенью, когда поступал, и с тех пор выбирался в деревню лишь на короткие каникулы, да и то не каждый год. Теперь возвращался насовсем. Мать наверняка испекла пирог заранее, чтобы был свежим к его приезду, - и он наверняка зачерствеет за два дня пути.

Сердце побаливало - несильно, привычно, как почти всегда с детства. Московские врачи разводили руками: с таким пороком можно жить долго, если избегать потрясений, нагрузок и вообще любых поводов для волнения. Матвей научился уживаться: тихая работа в родной деревне, коровы и козы, никакой суеты. Самолёт был его единственным допустимым стрессом в году, и о высоте он старался не думать - смотрел в книгу или в темноту за бортом.

Крик раздался из передней части салона - резкий, короткий, оборвавшийся так же внезапно. Следом - топот, удар, ещё один крик, женский, долгий. Матвей поднял голову. Между рядами, расталкивая пассажиров плечом, шёл человек в тёмной куртке, и в вытянутой руке у него было что-то настолько неуместное на высоте десяти тысяч метров, что глаз не сразу это опознал.

Пистолет.

- Всем сидеть! - рявкнул человек, и голос сорвался на середине - сам, похоже, не привык ещё к звуку собственной команды. - Никому не двигаться!

За ним в проходе появился второй, такой же дёрганный, а где-то в хвосте прорезался третий голос. Паника охватила салон мгновенно и целиком: кто-то вскочил и тут же был усажен обратно грубым толчком, кто-то прижал к груди ребёнка, кто-то шептал сквозь зубы молитву, а стюардесса у передней тележки застыла с бутылкой в руке - ни поставить, ни выронить.

Вторую бортпроводницу Матвей заметил, только когда она опустила на пол в проходе у его ряда: её выгнали из хвостовой кухни и велели сидеть. Немолодая, коротко стриженная, с бейджем «Л. Емельянова, старшая бортпроводница». Смотреть ей было больше некуда, кроме как на пассажира у окна, и она смотрела - будто он был единственным в салоне, с кем ещё можно о чём-то молча договориться.

Матвей вжался в кресло и вцепился в подлокотники. Первая реакция была привычной, из детства: сосредоточиться на дыхании, считать вдохи, не давать телу разгоняться. Это работало, когда медсестра слишком туго затягивала манжету, работало на защите диплома, когда начинал дрожать голос. Здесь, посреди чужого крика и запаха пролитого кофе, не сработало.

Сердце застучало неровно - сначала часто, потом с перебоями, спотыкаясь о собственный ритм. Этого Матвей боялся больше, чем пистолета: не пули, а предательского сбоя в груди, с которым не справиться никакими вдохами. Флакон с таблетками лежал в боковом кармане рюкзака, но пальцы дрожали, а нагнуться - значило резко шевельнуться. Человек с пистолетом в паре рядов впереди мог принять это за угрозу.

Матвей замер, глядя на синюю спинку кресла перед собой. На ткани выцвело пятно - кто-то пролил кофе неделю назад, и чехол так и не сменили. Странно, что именно эта деталь вдруг показалась важной. Важнее криков. Важнее выстрела, грохнувшего совсем рядом, - в потолок, чтобы все замолчали.

Стало трудно дышать. Не от страха - страх отодвинулся на периферию, приглушённый, как сквозь вату, - а оттого, что грудь перестала слушаться и сжалась в тугой узел. Синий чехол, огни под потолком, чужие затылки поплыли перед глазами. Он попытался позвать - соседа через проход, бортпроводницу в двух шагах, кого угодно, - но горло отказало, вышел только невнятный звук.

Последней была не мысль о выстрелах, а другая - до странности спокойная и невпопад: мать, наверное, уже заворачивает пирог в полотенце, чтобы не зачерствел, а он, кажется, не успеет позвонить и предупредить о задержке.

Сердце сбилось в последний раз и остановилось.

Крики, свет, топот в проходе не исчезли - просто перестали иметь значение, отодвинулись за грань, до которой Матвею Боброву уже не было дела.

В тот же миг в толще пространства, где нет ни верха, ни низа, ни направления, что-то пронеслось мимо - без цели, без карты, без единой мысли о границах между мирами. Душа, шесть веков прожившая на планете, о которой здесь, в тесном ряду эконом-класса, никто никогда не узнает, скользнула в то самое место, где мгновением раньше остановилось сердце молодого ветеринара, летевшего домой.

Ни вспышки, ни грома, ни знака свыше. Только та единственная зацепка, которую признавал ритуал: одна нить оборвалась, и другая, не выбирая, легла точно на её место.

Тело у окна обмякло так, как обмякает всё, что перестало быть живым. Голова съехала к иллюминатору, лицо посерело, открытые глаза не мигая смотрели в синий чехол. Прошла минута, может, чуть больше: чужой душе ещё предстояло найти, за что в этом теле держаться, а тело ждать не умело. Бортпроводница на полу всю эту минуту смотрела на него - на неподвижную грудь, на серое лицо - и беззвучно шевелила губами.

Потом, посреди хаоса снаружи и тишины внутри, тело снова напряглось. Сердце, помедлив, толкнуло кровь - неровно, с перебоем, но толкнуло. Чужая воля завела его, как заводят остановившийся маятник, а чинить не стала. Плечи расправились. Пальцы, судорожно вцепившиеся в подлокотники, разжались и легли ровно и спокойно - будто их владельцу никогда в жизни не доводилось паниковать.

Глава 2

Глаза открылись.

Первое, что он отметил, - теснота. Тесным до неприличия был и салон, но главное - само тело: узкие плечи, длинные ноги, не помещавшиеся под передним креслом, а в груди - сбоящий ритм, будто внутри работал не мотор, а старый насос, знававший лучшие времена. Порок сердца. Врождённый. Диагноз он опознал мгновенно, вместе со всем содержимым чужой головы, хлынувшим разом и без всякой сортировки: имя, лицо матери, запах свежего хлеба в усадьбе за околицей Гусевки, латинские названия болезней крупного рогатого скота, зачётка, договор аренды пастбища на пять лет с ежегодной выплатой соседнему роду, три письма Груне из Гусевки, написанные ещё на первом курсе и так и не отправленные. И поверх всего, отдельным, аккуратно подшитым делом, - «Бобровы»: род мелкий, боярский, обязательства перед соседями не закрыты.

Он моргнул. Дважды. Тело слушалось с небольшой задержкой - вопрос синхронизации, как в чужом доме, где мебель стоит не там, где ты привык.

«Сердце слабое», - отметил он без малейшего трагизма, как отмечают протечку в трубе перед покупкой дома: неприятно, но сделку не отменяет.

Так же буднично он отметил и другое. На полу в проходе, у самого подлокотника, сидела бортпроводница и смотрела на него - не испуганно, а так, как смотрят на покойника, который вдруг моргнул. Значит, та минута, пока тело стояло пустым, прошла при свидетеле. Неприятно, но поправимо: врождённый порок сердца - объяснение на все случаи.

Салон гудел паникой - сдавленные всхлипы, сбивчивый шёпот, ещё один выстрел в потолок где-то впереди. Шагах в трёх, в проходе, стоял человек в тёмной куртке и обшаривал взглядом ряды, выбирая, к кому подойти следующим для острастки. Взгляд остановился на пассажире у окна, который будто бы собрался встать и передумал в последний момент.

- Ты! - Дуло качнулось в его сторону. - Сидеть, я сказал!

Он сидел, машинально фиксируя параметр: сердце изношено с рождения, работает на пределе, но пока в допуске. Встать - значило нагружать деталь без нужды; задача решалась и сидя. Двумя рядами впереди женщина прижимала к груди ребёнка, и дуло уже дважды прошло над детской макушкой. Пусть лучше смотрит сюда. Это стоило того самого внимания, которого он собирался избегать всю оставшуюся жизнь в этом теле, но торговаться было не о чем. Он посмотрел на террориста так же, как ещё этим утром, в другом мире, смотрел на делегацию с седьмого хребта, - с терпеливым безразличием, которое, как выяснилось, безотказно работает на любых широтах Мультивселенной.

- Скажите, - произнёс он ровным, слегка усталым голосом, будто продолжал давно начатый разговор, - вы пути эвакуации на случай разгерметизации салона продумали?

Террорист опешил настолько, что дуло на секунду опустилось.

- Чего?

- Разгерметизации, - терпеливо повторил он. - Вы пальнули дважды в замкнутом пространстве на высоте десять тысяч метров. Обшивка здесь не бетонная стена: там зазоры, проводка, вентиляция. Ещё пара выстрелов не в ту сторону - и мы все резко окажемся на свежем воздухе, только без парашютов. Кто у вас отвечает за технику безопасности мероприятия?

- Какое, к чёрту, мероприятие... - Террорист ждал крика, мольбы, чего угодно привычного, а получил вопрос не по сценарию. - Ты вообще понимаешь, что происходит?

- Прекрасно понимаю, - кивнул он. - Захват воздушного судна. Только организован он, судя по звуку выстрелов и нервозности исполнения, наспех, без согласования маршрута отхода. Это как затевать ремонт без сметы: дороже выйдет всем, включая вас.

Стюардесса у передней тележки, всё ещё с бутылкой в руке, смотрела через весь салон на два одинаково немыслимых события сразу: захват самолёта и пассажира, читающего террористу лекцию по технике безопасности.

Террорист шагнул ближе. Перед ним был либо сумасшедший, либо храбрец-насмешник, и оба варианта требовали немедленно восстановить авторитет.

- Слушай сюда, умник...

Договорить он не успел. Тележка с напитками, стоявшая на тормозе у передней стенки, вдруг дёрнулась: колесо будто само вывернулось из фиксатора, и тележка покатила по наклонному полу прохода, набирая скорость, с неотвратимостью бильярдного шара, пущенного точно в лузу. Заметить что-то странное мог бы разве что очень внимательный наблюдатель - по едва уловимому всплеску тепла в воздухе, там, где кто-то, не шевельнув пальцем, подтолкнул колесо в нужный момент под нужным углом.

Тележка врезалась террористу точно под колени.

Он охнул, взмахнул рукой, и пистолет, вырвавшись из хватки, стукнулся о ножку кресла и уехал под их ряд. Сам террорист, зацепившись ботинком за колесо, растянулся в проходе - в позе, начисто лишённой того угрожающего величия, с каким патрулировал этот проход минутой раньше.

Он посмотрел на упавшего без тени торжества - как на сантехника, который наконец устранил протечку, о которой предупреждали ещё три недели назад.

- Видите, - сказал он ровно, - вот вам и разгерметизация. Только не салона, а вашего плана. Тележка, кстати, была плохо закреплена - это тоже к вопросу о технике безопасности, но претензия уже не ко мне, а к экипажу.

Террорист сунул руку под кресло, но пальцы наткнулись не на оружие, а на сапог, прижавший пистолет к полу. Сапог тут же прижал и пальцы - куда крепче, чем позволяла тщедушная комплекция молодого ветеринара. Сила шла не из мышц: её он подливал из собственного запаса. Сердце тут же отозвалось коротким уколом - подливать можно, но платить придётся этим насосом.

- Не советую, - произнёс он тем же будничным тоном. - У вас и без пистолета хватает проблем. Соседи по проходу, полагаю, тоже не в восторге от вашей рабочей смены.

Двое пассажиров впереди, опомнившись, уже навалились на террориста сверху - с тем избытком энтузиазма, который просыпается у людей, когда им дают понять, что можно.

Он убрал ногу, задвинув пистолет глубже под кресло. Подобрал с пола пуговицу, оторвавшуюся от рукава о подлокотник, - машинально, руками Матвея, приученными ничего не бросать, - сунул в карман куртки, откинулся на спинку и на секунду прикрыл глаза. Не от усталости: нужно было разложить по полочкам ворох чужих воспоминаний. Сельцо Бобровка, деревня Гусевка, договор с соседним родом, невыплаченная доля за прошлый сезон. Дела накопились ещё до того, как он успел в них вникнуть.

«Ну, хотя бы не скучно», - подумал он без особого энтузиазма.

В хвосте салона прорезался ещё один встревоженный голос. Там обнаружился второй сообщник - молодой, нервный, с коротким складным автоматом, пронесённым, видимо, в разобранном виде; держал он его так, будто оружие могло выстрелить само, стоит его тряхнуть. Третий, судя по обрывкам реплик, ломился из кухонного отсека в кабину пилотов и ответа не получал.

Он выпрямился в кресле. Тело слушалось увереннее: навыки, которыми оно никогда не пользовалось, ложились поверх привычных, как второй слой обоев поверх первого. Вставать он не спешил - за грудиной настойчиво покалывало. Не критично, но забеги по проходу отменялись.

Второй сообщник шагал вдоль рядов, покрикивая, чтобы пассажиры держали головы опущенными. У аварийного выхода он на секунду замешкался, проверяя дверь, - и рычаг бло-

кировки, до того исправно стоявший в фиксаторе, вдруг подался вбок, будто от усталости металла. Дверь, разумеется, никуда не делась - на высоте автоматика держала её надёжно, - но рычаг с сухим щелчком врезал сообщнику точно по костяшкам пальцев, сжимавших автомат.

Тот взвыл, выронил оружие и схватился за руку, не заметив, как автомат съехал под кресла, где его уже придерживал чей-то предусмотрительно выставленный ботинок.

Рычаг давно требовал смазки - самолёт летал не первый год, - и подтолкнуть его в нужный момент оказалось даже проще, чем рассчитывалось. Ничего эффектного: рычаг просто подался чуть раньше срока, будто соскучился по работе.

Третьему не повезло иначе. Ремень откидного кресла бортпроводника, мирно свисавший вдоль стены, вдруг захлестнулся вокруг его лодыжки и сам собой затянулся двойным узлом ровно в тот момент, когда он шагнул к двери. Сообщник рухнул носом в открытый кухонный отсек, и содержимое ближайшего кофейника вылилось ему точно на голову - с той идеальной меткостью, какая бывает либо в дешёвых комедиях, либо когда кто-то очень аккуратно рассчитал угол падения.

Когда забаррикадировавшийся в кабине экипаж наконец решился приоткрыть дверь, все трое были уже надёжно зафиксированы - кто ремнями от сумок, кто просто весом соседей, не растерявших боевого запала.

Сам он так и не встал с кресла и держался скорее консультантом, чем участником: пара тихих слов о том, что брючный ремень держит не хуже верёвки, если вязать, как телёнка к ветеринарному осмотру, - и дальше дело шло без него.

По отдельности ни один эпизод не выглядел ничем, кроме случайности. Рычаг устал. Ремень зацепился. Кофе пролился не в то время не в том месте. Обычное стечение обстоятельств на плохо обслуженном борту. Системы никто бы не увидел - потому что её и не демонстрировалось: минимум усилий, максимум незаметности, ни единого следа.

Емельянова поднялась с пола, только когда всё кончилось. Отряхнула юбку, оглядела салон - троих скрученных террористов, разбросанные подносы, лужи кофе - и снова посмотрела на пассажира у окна. На того самого, чьё серое неподвижное лицо недавно разглядывала в упор и который через минуту как ни в чём не бывало заговорил с захватчиком о технике безопасности.

- Вам плохо? - спросила она, заметив его бледность - след не пережитого, а застарелого сердечного недомогания. - Мне показалось, вы... - Она не договорила и поправилась: - Вы, кажется, единственный, кто сохранял спокойствие. Повезло, что вы рядом оказались.

- Повезло, - согласился он, не поправляя формулировку.

Объяснять, что дело не в везении, а в шестистах годах опыта решения проблем подручными средствами, смысла не было - тем более устами двадцатитрёхлетнего ветеринара, летевшего домой в деревню. Легенда, доставшаяся вместе с телом, требовала соответствия: скромный специалист, оказавшийся в нужном месте. Ничего сверх этого.

Самолёт пошёл на снижение - плавно, ровно, будто последние двадцать минут в салоне ничего не происходило. За иллюминатором проступили огни: сначала редкие, потом целыми гроздьями, очерчивая контуры аэропорта, к которому борт заходил с опозданием, но без единой жертвы.

Глядя на них, он впервые за неопределённо долгий срок прислушался не к чужому телу и не к обстановке, а к себе самому. К тому, что происходило внутри, помимо неровного, но живого стука сердца.

Скуки не было.

Он отметил это со спокойным изумлением человека, нашедшего в давно не открывавшемся ящике вещь, о которой успел забыть. Шесть веков каждая делегация, каждая дуэль, каждый разговор с очередным обиженным божеством укладывались в одну предсказуемую колею. А здесь, в тесном кресле чужого слабого тела, посреди наспех устроенного захвата, решённого

тележкой с напитками и уставшим рычагом, случилось то, чего не бывало так давно, что он почти забыл, как это называется.

Он подержал эту мысль ровно до того мгновения, когда колёса коснулись полосы.

Потому что следом пришла вторая, куда менее приятная и куда более настойчивая: доставшееся ему тело было не просто телом. Оно было частью рода - мелкого, боярского, обременённого арендой пастбища, невыплаченной долей за прошлый сезон и обязательствами перед соседями, о которых он теперь знал ровно столько же, сколько Матвей. То есть неприятно много.

Скука закончилась. А вот боярские долги рода Бобровых, судя по всему, только начинались.

Полоса встретила самолёт тем сибирским холодом, который местные упорно называли мягким, - промозглым, липким, забирающимся под одежду быстрее, чем успеваешь застегнуть куртку. Фонари вдоль полосы горели через один, а на одном столбе красовалась покосившаяся табличка «Ведутся работы» - из тех, что снимать никто не собирается. Со стороны аэровокзала доносился надсадный гул генераторов, будто вся электрическая жизнь Красноярского аэродрома держалась на честном слове и запасном топливе.

Матвей Бобров - вернее, тот, кто теперь носил это имя, - смотрел в иллюминатор, как смотрят на новый, ещё не изученный квартал, и прислушивался к телу. За грудиной тянуло глухой усталостью: сердце, и без того не рассчитанное на подвиги, требовало покоя куда настойчивее, чем час назад. Ещё один параметр под контроль: не только не спалиться, но и банально не свалиться, пока не закончится вся эта казённая процедура высадки.

Самолёт замер с протяжным механическим вздохом. Раньше, чем подали трап, раньше, чем стюардесса успела взять микрофон, снаружи послышался топот - быстрый, сложенный, тренированный. Ничего общего с неспешной поступью аэродромной охраны, какой её помнил Матвей, - память его была ясной, но чужой, как прочитанный дневник.

К трапу подошла группа в форме неопределённого казённого оттенка - не военная зелень и не полицейская синева, а нечто среднее, будто цвет подбирали так, чтобы он ни с чем не ассоциировался и внушал почтение всем одинаково. Эмблему на рукавах издали было не разобрать, но по общей суете было ясно: эти прибыли не паспорта проверять.

- Отдельный Корпус Благочиния, - вполголоса сказала женщина из ряда впереди, вцепившись в сумку, как в последний якорь спокойствия. - По магическим делам. Значит, что-то серьёзное заподозрили.

Название память Матвея выдала сразу - вместе с деревенской привычкой втягивать голову при виде этой формы. Но оценивал он его впервые: неуклюжее, тяжеловесное, рождённое явно не одним, а несколькими поколениями канцелярских правок, каждая из которых добавляла солидности и ни одна не заботилась о благозвучии. Ровно тот сорт бюрократического творчества, который он помнил по Керну, - только там так называли храмовые уставы, а не ведомства.

Пассажиров выводили по одному и выстраивали в неровную очередь у трапа, невзирая на холод. В стороне плечистый надзорный в фуражке, явно привыкший больше стоять, чем говорить, выкатывал на треноге громоздкую конструкцию: медные трубки, сплетённые в подобие ёлки, круглый стрелочный циферблат сбоку и потёртая инвентарная бирка с датой последней проверки - судя по выцветшим цифрам, ещё при позапрошлом составе губернской администрации.

На большинство пассажиров прибор молчал. Изредка деликатно попискивал, когда мимо проносили что-то мелкое: обручальное кольцо с наговором на удачу в дороге, детский оберег на шнурке под воротником у мальчика лет семи. Надзорный бросал взгляд на стрелку, кивал сам себе и пропускал дальше - рутина, отработанная до автоматизма.

Матвей подошёл к треноге в свою очередь, держась как все уставшие после перелёта: плечи опущены, взгляд расфокусирован, никакой лишней собранности. Внутри же шла работа куда конкретнее: слой за слоем он придавливал собственный фон - избыток силы, что копился в нём сам собой ещё со времён Керна и который здесь, без храмов и делегаций, девать было решительно некуда.

Стрелка дрогнула.

Не резко, не тревожно - ровно на величину заводской погрешности, будто мимо пронесли не архимага-универсала шестисотлетней выдержки, а бытовой амулет низкого разряда из тех, что продают на рынке от сглаза и мелкой порчи скота.

Надзорный нахмурился, посмотрел на циферблат, потом на Матвея - долгим взглядом, каким смотрят не на человека, а на строчку инструкции, которая никак не сходится с реальностью, - и полез в нагрудный карман за блокнотом.

- Фамилия?

- Бобров, - ответил Матвей, как ответил бы на вопрос о погоде. - Матвей Иванович.

Надзорный черкнул пару слов, захлопнул блокнот и махнул в сторону аэровокзала: проходи, не задерживай. Матвей двинулся дальше, не выдав облегчения ни единым движением, хотя мысленно уже занёс эпизод в список дел, требующих внимания.

«Значит, гасить придётся тщательнее», - отметил он, проходя мимо оцепления к тускло освещённым дверям, за которыми его, судя по суе, ждало продолжение вечера - куда длиннее, чем хотелось бы уставшему организму двадцатитрёхлетнего ветеринара.

У самых дверей рука сама полезла в карман за телефоном - Матвеева рука, с той привычкой, с какой Матвей пять лет звонил домой по воскресеньям. Экран был разбит: видимо, тело приложилось о подлокотник, пока сидело пустым. Аппарат не включался. Он посмотрел на чёрное стекло и обнаружил в себе то, чего ещё утром в нём не было: в Бобровке женщина заворачивает пирог в полотенце и ждёт звонка. Память выдала это не как сведение, а как долг. «Позвонить, - внёс он в список. - С первого же телефона».

Аэровокзал встретил духотой того казённого сорта, что скапливается там, где отопление работает исправно, а вентиляция - как получится. Пахло сыростью, бумажной пылью и то ли машинным маслом от генераторов, то ли клеем от объявлений о розыске контрабандных амулетов, чьи выцветшие копии украшали стену у входа третий, если не четвёртый год подряд.

Основной поток пассажиров направили в общий зал - к столам с бланками, вежливо-усталым чиновникам и обещанию «недолгой формальности», в которую, судя по лицам, никто не верил. Матвея повели отдельно. Конвоир, невысокий надзорный с отработанно равнодушным лицом, указал направление коротким кивком и двинулся по узкому коридору, не оборачиваясь, будто не сомневался, что задержанный последует за ним.

- Вас - отдельно, - сказал он, не сбавляя шага. - Показания уточним.

- Мне бы домой позвонить, матери, - сказал Матвей. - Пока про самолёт по радио не передали.

- Телефон у дежурного. После показаний.

- А остальных чего не отдельно? - спросил Матвей с той обстоятельной, чуть медлительной интонацией, которую уже опробовал у трапа и счёл достаточно убедительной.

- Остальных потом, если понадобится, - бросил конвоир, явно не расположенный к разговорам. - А на вас стюардесса указала. И ещё двое пассажиров. Говорят, держались вы подозрительно ровно для человека, у которого самолёт захватили.

- Так у меня сердце слабое, - с той же неторопливостью пояснил Матвей. - Оно, когда сильно волнуешься, не бьётся быстрее, а вроде как замирает совсем. Врачи говорят - редкий случай, компенсаторный какой-то механизм. Я снаружи, может, и спокойный кажусь, а внутри там всё...

Конвоир не дослушал: остановился у не приметной двери в конце коридора, толкнул её без стука и кивнул внутрь.

Историю про компенсаторный механизм, судя по всему, предстояло досказывать уже не ему.

Глава 3

Кабинет оказался тесным до неловкости: канцелярский стол, продавленный не одним поколением локтей, две табуретки друг напротив друга и единственная лампа под низким потолком, бросавшая резкое жёлтое пятно ровно на середину стола. Углы тонули в полутени. За узким немытым окном мигали всё те же фонари лётного поля - и лампа здесь мигала с ними в такт, будто вся электрическая сеть здания была одной большой взаимосвязанной проблемой.

Человек за столом не поднял головы. Он методично перекладывал стопку бумаг с одного края на другой - жест чисто демонстративный, рассчитанный ровно на то время, которое требовалось вошедшему, чтобы почувствовать себя менее значимым, чем документы на столе.

- Титулярный советник Тетерев, - представил его конвоир, ни к кому конкретно не обращаясь, и вышел, притворив дверь с тихим, но окончательным щелчком.

Матвей остался стоять у входа. Снаружи - с осторожным, чуть растерянным интересом деревенского парня перед столичным чиновником. Изнутри - куда пристальнее: за шесть веков на Керне он насмотрелся на мелких функционеров, точно так же выстраивавших паузы, чтобы придать себе веса.

Возраст у Тетерева был стёртый - что сорок, что пятьдесят. Аккуратные усы, явно требовавшие ежедневного внимания. В глазах - не усталость от конкретной ночи, а вьёвшаяся усталость от профессии как таковой. Мундир сидел безукоризненно, бумаг на столе было ровно столько, чтобы выглядеть занятым, но не неорганизованным. Обстановка выстроена сознательно, деталь за деталью, отметил Матвей, - с той же тщательностью, с какой он сам сейчас выстраивал образ простачка.

- Присаживайтесь, - произнёс наконец Тетерев, не отрываясь от бумаг. Знакомый приём: время здесь принадлежит хозяину кабинета, и торопиться будет тот, кто первым не выдержит паузы.

Табуретка оказалась жёсткой - явно с расчётом, чтобы задержанный не расслаблялся. Матвей сел и позволил себе набор мелких узнаваемых жестов: чуть ссутулился, обвёл взглядом комнату дольше, чем требовалось, и принялся почти незаметно теревать обтрёпанный край рукава.

Тетерев поднял голову - неспешно, давая понять, что делает это не по принуждению, а когда сам счёл нужным, - и впервые посмотрел прямо на него.

Взгляд был цепкий, привычный читать чужие лица, но без агрессии, которую следовало бы ждать от следователя. Скорее оценка - спокойная, методичная, будто перед ним лежал очередной отчёт, который предстояло разобрать по пунктам и сдать в архив. Заглянуть такому в голову было бы проще всего - и именно поэтому Матвей не стал: менталистика на трезвом и упрямом собеседнике оставляет следы, как сапоги на свежем снегу, а этот, судя по взгляду, следы читать умел.

- Бобров Матвей Иванович, - произнёс Тетерев, сверяясь с листом, хотя имя явно знал и без листа. - Двадцать три года. Возвращаетесь из Москвы, ветеринарная академия. Так?

- Так точно, - ответил Матвей чуть суетливо, с той избыточной старательностью, с какой отвечают люди, непривычные к казённым разговорам. - То есть не так точно, а просто так. Не служил я нигде, чтобы «так точно» говорить, это по привычке вырвалось, извините.

Тетерев коротко хмыкнул - не улыбка, а пометка для себя: слишком уж быстро и складно человек оправдал случайную оговорку.

- Ничего, - сказал он, придвигая чистый бланк протокола. - У нас тут не служба, а формальность. Пару вопросов - и все свободны.

Фраза из тех, что изначально не рассчитаны на то, чтобы им поверили: не ложь, а часть ритуала, знакомого обеим сторонам стола. «Пара вопросов» означала ровно столько времени, сколько понадобится, чтобы найти зацепку или убедиться в её отсутствии.

Лампа под потолком мигнула, и Матвей понял, что беседа выйдет куда длиннее обещанного.

Тетерев обмакнул перо в чернильницу, хотя рядом лежала обыкновенная канцелярская ручка: старомодный ритуал, видимо, придавал протоколу вес.

- Начнём с формальностей. Полное имя, возраст, род занятий.

- Бобров Матвей Иванович, - послушно повторил Матвей. - Двадцать три года. Ветеринар. То есть только-только ветеринар, диплом толком в руках подержать не успел - прямо с выпускного на самолёт, домой, в Гусевку.

- Гусевка - это где? - спросил Тетерев тоном человека, который знает ответ, но вносит его для протокола.

- Енисейская губерния, недалеко от сельца Бобровка, - с готовностью пояснил Матвей.

- Мы там род Бобровых, боярский, только мелкий совсем - пара деревень, скотину разводим. Отец мой всю жизнь коров да коз лечил, кто как умел, без образования, а я вот выучился, чтобы по науке. У нас прошлым летом корова одна отелилась неправильно, так пришлось соседского фельдшера звать, он в людях больше понимает, чем в скотине, всё равно помог кое-как...

- К делу, - оборвал Тетерев.

- Простите, - виновато сказал Матвей. - Волнуюсь, вот и тараторю. Меня в деревне все за это ругают - начну про коров, не остановишь.

Тетерев сделал машинальную пометку и наконец задал вопрос, ради которого, судя по всему, и затевался весь вечер:

- Расскажите своими словами, что произошло на борту.

Матвей выдержал паузу - не настолько долгую, чтобы выглядеть подозрительно, но достаточную для человека, которому трудно собраться с мыслями после пережитого.

- Ну... - начал он, глядя на лампу, будто нужные слова были записаны там. - Летели мы себе тихо-мирно, я даже вздремнуть успел, а потом крик спереди. Я сперва подумал - может, кому плохо стало, бывает же в самолётах, духота, давление скачет...

- Дальше.

- А дальше смотрю - человек с пистолетом по проходу идёт. - Матвей слегка ссутулился, будто телу от одного воспоминания стало не по себе. - Я как увидел - у меня аж сердце зашлось. Оно у меня слабое, я говорил уже. Зарябило перед глазами, вцепился в подлокотники и сижу, дышать боюсь.

- А дальше?

- А дальше не помню толком, если честно, - признался он с простодушием человека, стыдящегося собственной беспомощности. - Крики какие-то, тележка эта покатилась... Кто где стоял, кто что делал - не знаю. Помню только, что всё быстро очень было, а мне казалось - как в тумане.

Тетерев положил перо и посмотрел на него внимательнее - пока без подозрения, с профессиональной настороженностью человека, который вслушивается в чересчур ровный рассказ.

- Стюардесса утверждает, что вы первым обратились к нападавшему. Спросили его про пути эвакуации в случае разгерметизации.

- Я? - Матвей смутился, будто его поймали на глупости. - Может, и ляпнул. Я, когда сильно боюсь, начинаю вслух говорить, что в голове лежит, а в голове у меня с академии техника безопасности - нас ей полгода гоняли, при скотине без неё никак. Само вырывается. У нас в деревне так было: бык на меня попёр, а я стою и кричу ему что-то про прививки, будто он меня слушает.

- А про тележку что скажете? - Тетерев не дал себе отвлечься на быка. - По показаниям, она сама покатила и сбила нападавшего с ног - именно в тот момент, когда он к вам приближался.

- Так у нас телега один раз точно так же с горы укатилась, - оживился Матвей, будто наконец нашёл тему, в которой чувствовал себя уверенно. - Сено везли, дед мой на минуту отвлёкся - курить пошёл, хотя вообще-то бросил, но иногда срывается, - а телега возьми да покатысь, колесо там расшаталось. Так и в самолёте, наверное: у тележки колёсики неисправные, вот и покатила под уклон, а этот, с пистолетом, как раз рядом стоял. Совпадение, конечно, но бывает же.

На этот раз пометка вышла развёрнутее - перо задержалось над бумагой дольше обычного. Матвей отметил и это: зацепиться следователю пока было не за что, но он уже чувствовал странную гладкость - готовая деревенская аналогия находилась у свидетеля на любой случай.

- Хорошо. А после тележки?

- А дальше его, наверное, другие пассажиры скрутили, - пожал плечами Матвей. - Я так и не понял толком. Сидел, дышал через раз, ждал, пока кончится. Очнулся, когда самолёт садиться начал.

Скромность работала надёжнее любого героического пересказа: если свидетель сам настойчиво преуменьшает свою роль, цепляться не за что.

Тетерев помолчал, глядя не на бумаги, а сквозь них.

- Странно, - произнёс он наконец, скорее размышляя вслух. - Обычно свидетели после такого либо путаются и нервничают куда сильнее, либо помнят каждую деталь слишком отчётливо - от испуга память иногда цепляется за мелочи. А у вас ровно посередине. Достаточно путаницы, чтобы выглядеть естественно, и достаточно связности, чтобы всё сходилось.

- Так я же простой человек, - сказал Матвей с обезоруживающей прямоотой. - Как помню, так и рассказываю. Может, оно само так в голове уложилось, пока летели, - я же волновался всю дорогу.

Тетерев резко черкнул что-то на полях, и Матвей понял: первая, пусть слабая настороженность в этом кабинете уже родилась. Дальше разговор пойдёт медленнее и пристальнее.

Протокол Матвея отъехал в сторону, на его место легла стопка потолще, исписанная разными почерками, - похоже, собранная наспех прямо на борту. Тетерев нашёл нужную страницу, разгладил её ладонью и прочёл ровным голосом, каким читают не для собеседника, а для протокола:

- Показания старшей бортпроводницы, гражданки Емельяновой. Цитирую: «Пассажир из тридцать четвёртого ряда сохранял поразительное спокойствие. Когда первый из нападавших приблизился к нему с оружием, он не выказал признаков паники, а, напротив, задал вопрос о технике безопасности на борту. Тележка с напитками впоследствии сбила нападавшего с ног - я расцениваю это как счастливую случайность, однако поведение самого пассажира до этого момента показалось мне нетипичным для человека в состоянии стресса».

Он поднял глаза - не с обвинением, а с той проверкой, при которой важна не реакция, а её отсутствие.

Емельянова. Женщина с бейджем, сидевшая на полу у его подлокотника. О том, на что она смотрела ту длинную минуту, в зачитанном не было ни слова, - и Матвей отметил это отдельно: значит, это лежит у следователя в другой бумаге.

- Ну, - Матвей виновато развёл руками, - я же говорил. Тележка сама поехала, я тут ни при чём. А вопрос этот... не отпираюсь - ляпнул. Только умного там ничего не было: у меня иногда рот сам открывается, когда страшно, а мозги в это время в другом месте.

- «Задал вопрос о технике безопасности», - повторил Тетерев, будто цитата от повторения могла обрести новый смысл. - Довольно конкретная формулировка для человека, у которого рот открывается сам.

- Так со страху у всех всё крупнее выходит, - пожал плечами Матвей. - Я ляпнул, а ей уже лекция послышалась. У нас в деревне сосед по пьяни забор чинил, а жена потом всей улице рассказывала, что он чуть амбар с курятником не спалил. А он всего-то две доски подпалил, спичкой неудачно чиркнул. Страх - он такое дело.

Тетерев промолчал, сделал на полях пометку - короткую, заметно резче прежних - и перевернул страницу.

- Показания пассажира Согрина, двадцать шестой ряд. Цитирую: «Один из нападавших пытался открыть аварийный выход, но рычаг заклинило. Он сильно ударился рукой, выронил оружие. Пассажир из тридцать четвёртого ряда в этот момент находился поблизости, но не приближался к месту происшествия, насколько я заметил».

Матвей кивнул с преувеличенным облегчением.

- Вот видите - не приближался. Значит, я точно ни при чём.

- Заметьте, - сухо продолжил Тетерев, не поднимая взгляда, - рычаг аварийного выхода, по данным осмотра, механически исправен. Заклинивание техническим состоянием двери не подтверждается.

Повисла пауза. Лампа мигнула - тонко, коротко, будто электрическая сеть отозвалась на напряжение в кабинете точнее любого прибора.

- Ну техника, она такая, - рассудительно сказал Матвей: в вопросе про механику деревенская обстоятельность, по его расчёту, должна была звучать особенно убедительно. - У нас доильный аппарат тоже исправным считали, а он раз в неделю сам собой заедал. Потом разобрали - пружинка одна слабая, никто и не заметил бы, пока не отказала. Может, и тут так: с виду исправно, а в нужный момент заело.

Тетерев смотрел на него дольше обычного, не мигая, - как на пазл, где детали подходят друг к другу чуть идеальнее, чем позволяет случайность.

- Продолжим. - Ещё одна страница. - Показания второго пилота. Покинув кабину, он обнаружил третьего нападавшего связанным ремнём откидного кресла, лицом в кофейной луже. Цитирую: «Ремень был закреплён с необычной для панической ситуации аккуратностью - двойной узел, исключающий возможность освобождения без посторонней помощи».

- Двойной узел, - повторил Матвей с почти детским удивлением. - Ну, кто-то из пассажиров постарался. Руки со страху иногда сами умеют то, чего в спокойном состоянии не смогли бы. У меня вон дед один раз со страху дверь сарая гвоздями заколотил - а до этого молотка в руках толком не держал, руки не тем концом росли.

- Вы утверждаете, что не помните, как это произошло? - В голосе Тетерева впервые прорезалось не просто настороженность, а раздражение: третья деревенская аналогия подряд, и сам факт, что на каждый эпизод находится готовая, начинал казаться ему самой большой странностью из всех.

- Не помню, - с прежней простотой подтвердил Матвей. - Говорю же, всё как в тумане было.

Тетерев отложил лист, взял сложенные на краю стола очки и медленно протёр стёкла рукавом - не чтобы лучше видеть, а чтобы выиграть несколько секунд. Матвей наблюдал за этим, как наблюдал бы редкий, но не опасный симптом у пациента: сам по себе не тревожный, но требующий присмотра.

- Странно получается, - произнёс наконец Тетерев, надевая очки. - По отдельности каждое ваше объяснение звучит житейски. Телега с горы укатилась, пружинка ослабла, руки со страху сами что-то умеют. А вместе выходит, что три никак не связанных инцидента случились настолько удачно и вовремя, что захват развалился сам собой за несколько минут. И человек, который есть в каждом рассказе - то первым заговорил, то сидел поблизости, - ничего не помнит и ни в чём не участвовал.

- Повезло, наверное, - пожал плечами Матвей. - Бывает же: один раз в жизни всё разом складывается.

Тетерев не ответил. Он смотрел в бумаги, будто искал в них не факты - факты были на месте, чистые и в отдельности объяснимые, - а то ощущение подвоха, которое пока не складывалось в улику, но уже отчётливо царапало на границе профессионального чутья.

Стопка показаний отлетела в сторону - резче, чем всё, что Тетерев делал за вечер. За окном густая чернота сменялась неопределённым серым - уже предрассветным, но ещё не решавшимся назвать себя утром. Лампа мигала почти непрерывно, и тени на стенах то вытягивались, то сжимались, будто кабинет нервничал вместе с хозяином.

- Хорошо, - сказал Тетерев, и хорошего в этом «хорошо» не было ничего: методичная тактика себя исчерпала. - Оставим показания. Поговорим по-другому.

Он подался вперёд, опершись локтями о стол, и заговорил быстро, рублеными фразами - чтобы сбить собеседника с неторопливого ритма.

- Возраст?

- Двадцать три.

- Профессия?

- Ветеринар.

- Сколько нападавших было на борту?

- Трое, кажется.

- Кто из них первым подошёл к вам?

- Тот, что с пистолетом.

- Что вы почувствовали в этот момент?

- Испугался, - сказал Матвей всё так же неторопливо, будто вопросы не сыпались, а тянулись, как патока.

Темп эффекта не дал: собеседник не сбился, не заторопился, не выдал ни одной лишней паузы. Тетерев попробовал ещё раз, почти скороговоркой:

- Где вы сидели? Кто сидел рядом? Что вы делали, когда раздался первый крик? Куда смотрели, когда упал первый нападавший?

Матвей выждал одно неспешное мгновение - ровно столько, сколько понадобилось бы уставшему парню, чтобы разобрать поток вопросов по порядку, - и ответил так же обстоятельно:

- У окна сидел, в предпоследнем ряду. Рядом никого, повезло, место свободное осталось. Крик услышал - сжался, за подлокотники вцепился. А куда смотрел - не помню уже, туман в глазах стоял.

На лбу Тетерева проступила испарина - сперва просто блеск в свете мигающей лампы, потом отчётливая влажная полоска над бровями. Он машинально стёр её тыльной стороной ладони.

- Вы понимаете, - голос его чуть дрогнул, - что за два часа вы дали мне три объяснения трём инцидентам, и все три сходятся слишком хорошо?

- Понимаю, - серьёзно кивнул Матвей. - Оно и мне самому странно. Прямо как сон дурной - то ли было, то ли привиделось.

Тетерев издал короткий смешок - сухой, без тени веселья, скорее нервный спазм - и тут же недовольно кашлянул, будто застыдился.

- Смешно вам? - спросил он резче, чем собирался.

- Мне не смешно, - честно ответил Матвей. - Мне спать хочется. Простите, если что не так сказал.

Извинение прозвучало так буднично, без малейшего страха или заискивания, что Тетерев на мгновение замер: он ждал одной реакции, а получил совсем другую. Он снова вытер лоб

рукавом, уже не скрываясь, и заговорил тише, пытаясь вернуть разговору хотя бы видимость контроля:

- Вы летели на самолёте, который захватили вооружённые люди. Погиб один пассажир - не выдержало сердце от испуга, как установлено предварительно. Была реальная угроза жизни для всех на борту, включая вас. А вы сидите здесь третий час и отвечаете с таким видом, будто мы обсуждаем прогноз погоды.

Про погибшего Матвей отметил сразу. Погибших на борту не было; кандидат на эту роль был ровно один, и он сидел сейчас на жёсткой табуретке напротив. Поправлять следователя он не стал: поправка - это тоже показание.

Тетерев выдержал паузу, собираясь с силами для главного вопроса, и Матвей подумал, до чего же вымотан человек напротив - не физически, а той особой усталостью, что накапливается, когда профессиональная опора вдруг перестаёт держать.

- Как? - Ладонь Тетерева сама собой опустилась на стол - не в ярости, а в отчаянии человека, исчерпавшего все привычные инструменты. - Как можно быть настолько беспробудно спокойным после того, что произошло?

Удар вышел негромким, скорее символическим, но в тесном кабинете прозвучал неожиданно резко: задребезжала чернильница, качнулся лист на краю стола.

Матвей посмотрел на него так же ровно и чуть устало, как смотрел весь вечер, и ответил, не меняя тона:

- Так я и боялся. А сейчас-то чего? Всё же обошлось.

Повисла тишина - та плотная тишина, что наступает не от отсутствия звуков, а от невозможности подобрать следующее слово. Лампа мигнула ещё раз и, будто устав бороться с перепадами напряжения, на несколько секунд погасла совсем, оставив обоих в предрассветном полумраке из невымытого окна.

Тетерев молчал долго. Он смотрел на юношу напротив так, будто впервые за вечер по-настоящему его разглядывал, - искал в простом, слегка растерянном лице хоть одну деталь, которая объяснила бы услышанную фразу, и не находил ничего.

- Свободны, - сказал он наконец глухо, без прежней канцелярской размеренности. - Распишитесь у секретаря на выходе - секретарь с половины седьмого, подождёте в коридоре. Понадобится - вызовем повесткой.

- Домой бы позвонить, - сказал Матвей. - Мать с вечера ждёт, а про самолёт, поди, уже по радио передали.

Тетерев, не поднимая головы, кивнул на аппарат у стены:

- Служебный. Для личных разговоров не положено. Междугородний - у дежурного, с восьми.

Матвей поднялся, слегка пошатнувшись - ночь не прошла для слабого сердца даром, - и направился к двери. У порога он обернулся - отчасти из вежливости, отчасти из того давно забытого любопытства, что давало о себе знать всё чаще с каждым часом новой жизни. Следователь сидел, глядя в закрытую папку, и головы не поднял. Матвей вышел. Скамья в коридоре оказалась такой же жёсткой, как табуретка, а до половины седьмого оставалось без малого полтора часа.

Тетерев просидел над закрытой папкой, пока за невымытым окном окончательно не рассветло. Дело было формально закрыто. По его лицу было ясно: закрыто оно лишь на бумаге.

Глава 4

В половине седьмого задремавшего на скамье Матвея растолкал тот же конвоир - только теперь без прежней сосредоточенности, с расслабленным видом человека, у которого кончается ночная смена, а значит, формальности можно пропускать мимо ушей. Почти одновременно из кабинета вышел Тетерев: на ходу сунул конвоиру подписанный протокол, буркнул что-то вроде «в архив, копию секретарю» и, не оборачиваясь, скрылся за поворотом - домой или хотя бы в дежурку, отсыпаться. Конвоир глянул на верхний лист, убедился, что подпись на месте, и махнул рукой в сторону коридора, уходящего вглубь административного крыла.

- Сюда. К секретарю, распишетесь - и на выход.

В коридоре стоял тот утренний полумрак, что бывает в казённых зданиях с окнами на глухую стену: снаружи давно рассвело, а внутри об этом ещё не знают. Часть ламп не горела вовсе - перегорели или их не меняли из экономии, - остальные светили тускло и желтовато, будто устали не меньше персонала. По обе стороны тянулись одинаковые двери - одни с латунными табличками, другие совсем голые, - и для случайного посетителя коридор превращался в лотерею.

Тело напоминало о себе сильнее, чем хотелось бы признавать. Сердце за долгую ночь, похоже, выработало весь запас снисходительности, и каждый шаг отдавался за грудиной настойчивым покалыванием. Этот параметр требовал самого обыкновенного решения - тёплой постели и нескольких часов покоя. Но впереди ещё оставались последние формальности.

- Может, в уборную перед выходом, - сказал конвоир, останавливаясь у поворота и кивая в короткий тупичок. Прозвучало это не вопросом, а дежурной формулой, которую он, судя по интонации, повторял каждому отпущенному свидетелю. - Вон там, в конце. Секретарю я передам, что задержались. Идите, я тут постою.

Он прислонился плечом к стене - с той усталой снисходительностью, с какой конвоиры под конец смены видят в задержанном уже не угрозу, а последнюю формальность перед заслуженным отдыхом.

Матвей пошёл один - неторопливо, чуть покачиваясь, как шёл бы измотанный деревенский парень, которого лабиринт одинаковых дверей и сам по себе сбивает с толку. Шаги гулко отдавались в тишине раннего утра, когда даже бюрократическая машина ненадолго замирает между ночной сменой и дневной.

В конце коридора обнаружились две двери - совершенно одинаковые, без табличек, стоявшие так близко, что понять, какая из них ведёт в уборную, было решительно невозможно. Матвей замедлил шаг, изображая недоумение, которое, впрочем, довольно быстро перестало быть только изображением.

Потому что ещё за несколько шагов он ощутил то, чего среди гула генераторов, машинного масла и сырого сквозняка из плохо законопаченных рам быть не должно.

Едва уловимый привкус - не запах, а вибрация на самой границе восприятия, знакомая так давно, что узнавание пришло раньше мысли: так пахла Изнанка. Этот фон он помнил ещё по временам скитаний, по десяткам миров Мультивселенной, где Изнанка проступала то ближе, то дальше, но всегда узнаваемо. На Керне за шесть веков фон осел так глубоко, что Лих перестал его замечать, как человек перестаёт слышать тиканье собственных часов. И вот теперь, в конце сырого коридора провинциального имперского ведомства, он снова заявил о себе - тихо, но безошибочно.

Матвей остановился, глядя на обе двери с видом усталой жертвы бессонной ночи, а сам вслушивался, пытаясь определить источник точнее.

Тянуло из-под левой створки. Тонкой, почти невидимой нитью - не из вентиляции, не из-под правой двери, а именно оттуда.

«Прокол», - определил он так же буднично, как шесть веков подряд диагностировал аномалии на Керне. Небольшой: не разлом, а трещина, из тех, что случаются в местах с истончённой границей между мирами. В прежней жизни такое заслуживало разве что короткой пометки в журнале дежурного мага и устранялось одним ленивым взмахом руки, не отрываясь от чаепития.

Конвоир всё так же подпирал стену у поворота и следил за происходящим разве что в общих чертах.

Здравый смысл, доставшийся вместе с памятью Матвея, подсказывал простой путь: правая дверь, секретарь, подпись - и как можно скорее прочь из служебного крыла Благочиния, туда, где сердце наконец отдохнёт. Так поступил бы благоразумный молодой ветеринар, мечтающий о родной деревне и коровах.

Но было и другое - любопытство, которого он не испытывал шестьсот лет, пока однообразие Керна методично вытравливало из него способность удивляться. Теперь оно напомнило о себе с настойчивостью, которую не спишешь ни на усталость, ни на слабое сердце.

Да и прокол был, скорее всего, местного значения: персонал Благочиния, судя по запущенности здания, просто не успел его заметить и заклеить синей изолянтной бюрократии, как любую другую коммунальную неполадку. Риск был в другом. Прокол в коридоре, по которому каждое утро ходят человек сорок, - не его забота ровно до той минуты, пока туда не шагнёт уборщица с ведром. Что за дверью - пустой карман или что-нибудь зубастое, - лучше было узнать ему, чем ей. До восьми, до междугороднего телефона, оставалось полтора часа: на короткий взгляд хватало с запасом.

Он шагнул к левой двери - вразвалку, будто так и не решил, какая из них нужная. Со стороны это выглядело именно так, как должно было: уставший человек перепутал похожие двери в незнакомом коридоре.

Ладонь легла на ручку - прохладную, металлическую, самую обыкновенную. Он выждал долю секунды по давней керновской привычке оценивать прокол перед тем, как в него шагнуть. Слабый, локальный, вход свежий, едва прорезавшийся, признаков нестабильности нет - граница сразу за порогом не обрушится.

Дверь поддавалась легко и без скрипа - не петли были хороши, просто пространство за ней оказалось уступчивее, чем положено казённой двери. Вместо каморки с ведрами и швабрами колыхалась рябь - плотная, мерцающая и настолько неправильная для человеческого глаза, что смотреть на неё было физически неприятно: цвета путались местами, тени ложились не в ту сторону, откуда падал свет.

За спиной раздался голос конвоира, разом стряхнувший сонную ленцу:

- Не та дверь!

Крик опоздал. Матвей уже стоял на пороге и успел разглядеть, что за рябью не пустота и не хаос, а нечто вполне оформленное, хоть и неразличимое пока в деталях: какой-то пейзаж, странно смещённый относительно привычной геометрии.

Он шагнул внутрь.

Не рванулся, не бросился очертя голову - сделал тот же неторопливый усталый шаг, каким шёл бы в уборную. Только унёс его этот шаг в мерцающее марево, тут же сомкнувшееся вокруг плотной невесомой пеленой.

Конвоир, рванувшийся следом, не успел на ладонь: дверь захлопнулась сама, беззвучно, ровно когда он потянулся к ручке. Захлопнулась - и перестала быть дверью. На её месте была обыкновенная стена, чуть облупленная, такая же, как соседние участки коридора, будто двери здесь отродясь не бывало.

Конвоир застыл. Провёл ладонью по холодной гладкой штукатурке, будто надеялся нащупать шов - хоть какое-то доказательство, что всё это игра утомлённого после смены зрения.

Ничего. Только стена.

Он огляделся - на соседнюю дверь, настоящую уборную, которая как ни в чём не бывало стояла на месте, - и, окончательно поняв, что на усталость это не спишешь, кинулся к переговорному рожку, вделанному в угол коридора ещё, судя по виду, при прошлой реконструкции.

- Дежурный! - рявкнул он в раструб, и голос, минуту назад сонный, зазвенел напряжением человека, вдруг осознавшего, что его смена, его пост и его недосмотр окажутся в первой строке завтрашнего рапорта. - Дежурный, пропажа! Свидетель по делу о захвате борта - в коридоре административного крыла, у меня на глазах, только что!

Раструб ответил не сразу: треск, сбивчивое переспрашивание и наконец голос дежурного, вмиг растерявший сонливость и требующий подробностей. Пустой коридор начал наполняться торопливыми шагами, хлопаньем дверей, отрывистыми командами, которые множились по мере того, как весть расплзалась по этажам.

Тетерев, так и не дошедший до дежурки, обернулся на шум. По мере того как до него долетали обрывки докладов, невыспавшаяся усталость на его лице сменялась чем-то куда более острым и хорошо знакомым человеку его профессии - тем самым неоформленным зудом, который он унёс с собой из протокола, только что казавшегося безнадёжно закрытым.

Свидетель, которого он полночи не мог уличить ни в едином несоответствии, испарился из-под присмотра конвоира - из тупикового коридора, откуда, по всем правилам, деться было некуда.

Дверь за спиной захлопнулась с окончательностью дверей, которых больше нет, - и Матвей Бобров оказался в парке.

Не в каморке со швабрами, не в архивном закутке, а именно в парке: аллеи, скамейки, фонарные столбы и пересохший фонтан посередине. По периметру тянулся высокий глухой забор, а над ним не виднелось ничего - ни неба, ни города, ни соседних крыш. Только ровное безучастное ничто, на которое смотреть было так же скучно, как на побелку.

Он постоял, привыкая. Свет падал отовсюду сразу и ниоткуда конкретно; тени лежали не в ту сторону, а некоторые предметы обходились без теней вовсе, будто их упустили при составлении сметы. Кусты были подстрижены аккуратно и совершенно бессмысленно: там, где никто не ходит, - под линейку, а вдоль главной дорожки разрослись так, что приходилось протискиваться боком. Стояла полная, качественная тишина, без единой птицы. Воздух был прохладнее, чем полагалось в конце июня, - это он отметил первым, профессионально.

«Четвёртый разряд, - подумал он словами из академического конспекта Матвея: на третьем курсе для общего развития им читали «Изнаночную фауну и аномалии», и сдал её Матвей на тройку. - Карман старый, а вход свежий. Сутки, может двое».

Определялось это само собой - так опытный человек с порога понимает, давно ли в доме не топили. Фон у шва был жидкий, с рваными краями: проход только прорезался и ещё не решил, чем ему быть. А сам парк был старый - Изнанка лепила его давно, по ту сторону, и до коридора аэровокзала дотянулась только сейчас. Пахло - если это слово вообще годилось - незавершённостью.

Он оглянулся. Двери не было. Была садовая ограда, за ней кусты, за кустами всё тот же забор. Ни шва, ни намёка.

Правило подвижного выхода работало как положено: пока он внутри, вход закрыт наглухо, а откроется заново неизвестно где - в пределах двухсот метров от исходной точки, как значилось в том же конспекте, но в каком направлении, не знал никто, включая, похоже, саму Изнанку. Конвоир, который сейчас наверняка ощупывал облупленную штукатурку, не мог сделать ничего. Как и вся его контора. Как и Тетерев.

За ним никто не придёт. Не потому, что не захотят, - физически не смогут.

Матвей обдумал это со всех практических сторон и пришёл к простому выводу: свидетелей нет. Впервые с той минуты, как он открыл глаза в чужом теле, вокруг не было ни одной

пары глаз, перед которой требовалось изображать растерянного деревенского недоросля со слабым сердцем.

Он снял маскировку.

Буднично, без всякой торжественности - как человек, добравшись наконец домой, стягивает жавший весь день ботинок. Слой за слоем отпустил давление, которым прижимал собственный фон ко дну. Ощущение было не триумфальным, а облегчённым - как разжать кулак после долгого рукопожатия с неприятным собеседником.

Фон разошёлся вокруг ровным спокойным полем.

Ближайший фонарный столб мигнул и загорелся вполнакала. Через две секунды - следующий, потом ещё один: никто их не включал, просто рядом появилось то, из чего можно брать. Матвей посмотрел на эту иллюминацию без всякого удовольствия.

- Ну да, - сказал он вслух, впервые за долгие часы своим собственным тоном. - Утечка. Как обычно.

Голос в тишине прозвучал непривычно: тело чужое, молодое, с другим тембром, и слышать в нём свои интонации было странно, как слышать себя в записи. Привыкнется.

Куда интереснее было, что за парк ему тут построили.

Он прошёл несколько шагов по главной аллее, разглядывая устройство. Прокол лепится из того, чего в точке разрыва накопилось больше всего. В иных местах, где ему доводилось бывать, это была магия, чьи-то страсти или пролитая кровь. Здесь - административная взвесь, копившаяся десятилетиями: отчёты о благоустройстве, планы озеленения, сметы на ремонт фонтана, акты приёмки работ, которых никто не выполнял.

Изнанка добросовестно вылепила парк по документам, а не по факту. Отсюда и стриженные кусты там, где никто не ходит: в плане озеленения именно этот участок значился приоритетным. Отсюда и фонтан - пересохший, но безупречно чистый: смету на очистку освоили, на подачу воды - нет. Отсюда и забор: в проекте он шёл первым пунктом и построен был первым, потому что периметр - это порядок, а остальное как получится.

- Знакомая школа, - сказал Матвей и присел на корточки у края дорожки посмотреть, как уложена плитка.

Плитка была уложена скверно. Не халтурно, а именно скверно - с той добросовестной кривизной, какая получается, когда работу выполняют строго по чертежу, а чертёж составлял человек, никогда не видевший ни этого места, ни плитки, ни, вероятно, земли под ней.

Он выпрямился - не сразу: сердце после бессонной ночи и трёх часов допроса отзывалось тянущей, ноющей нотой - и обвёл парк взглядом.

Спешить было некуда. Выход откроется, когда откроется. Снаружи ждали оцепление, протокол о пропаже свидетеля и нарастающий переполох в коридорах Благодичиния, но всё это существовало где-то там, за отсутствующей дверью, и достать его не могло.

Тишину нарушил звук.

Из глубины парка, со стороны боковой аллеи, донёсся низкий, утробный, безусловно угрожающий рык.

Матвей прислушался - не к самому рыку, а к тому, как он сделан. Рык шёл на выдохе, с характерным подхрипом на середине, и тянулся дольше, чем требовалось для настоящей угрозы.

- Ага, - сказал он тоном, каким ставят предварительный диагноз ещё от калитки.

И пошёл смотреть.

Боковая аллея уводила влево, под разросшиеся кусты. Матвей не торопился: торопиться было незачем, а сердце всё отчётливее напоминало, что ночь выдалась длинная.

Источник рыка обнаружился шагах в двадцати. На пяточке между двумя скамейками сидело нечто, похожее на медведя, которого протащили через ежевичник, а потом три года не мыли: крупная косматая туша в свалывшихся колтунах, с мордой, почти неразличимой в

шерсти. При виде Матвея туша поднялась на все четыре лапы, набрала воздуха и выдала тот самый рык - с подхрипом ровно на середине.

Мохноед. Название всплыло из того же конспекта, а самого зверя Лих опознал сразу - за годы странствий видывал и не такое. Но интересовало его сейчас другое.

- Ты не рычи, - сказал он, не сбавляя шага и подходя вплотную. - Ты повернись.

Мохноед, никогда прежде не встречавший существа, которое на рык подходит ближе, растерянно умолк и, повинаясь непонятно чему, действительно повернулся боком.

Матвей запустил пальцы в шерсть у загривка и нащупал то, что предполагал: сплошную свалывшуюся корку, стянувшую кожу так, что зверь физически не мог ни нормально лечь, ни повернуть голову.

- Так я и думал. Ты не злишься, тебе просто неудобно.

Он взялся за колтун обеими руками и начал разбирать - методично, снизу вверх, как разбирают закипший узел на верёвке. Мохноед издал горловой звук, в котором угрозы не осталось вовсе, и подставил бок.

- Расчёсывать надо, - сообщил Матвей ему в шерсть. - Раз в неделю хотя бы. Тут у вас кто за это отвечает? Никто? Ну разумеется.

Работа заняла минут пять. Магию он не применял - не из осторожности, а потому что колтуны разбирают руками. К концу Мохноед лежал на боку в позе полного нравственного разложения и делал вид, что рычать не умеет вообще.

- Свободен, - сказал Матвей, вытирая ладони о штаны. - И не пугай больше никого, тебе не идёт.

Дальше по аллее обнаружилась Плакса-Сирота - тонкий полупрозрачный силуэт ребёнка на скамейке, заливающийся непрерывными обильными слезами. По задумке это должно было леденить кровь. Матвей присел на корточки вровень с её лицом - так садятся перед ребёнком, даже зная, что перед тобой не ребёнок, - и осмотрел её тем хозяйским взглядом, каким за шесть веков осматривал всё больное, от захворавшего полубога до соседской козы.

- Так, - сказал он, поворачивая полупрозрачную голову к свету. - А это уже не мистика.

Глаза были воспалены - не метафорически, а самым натуральным образом: припухшие, раздражённые, как у коровы, которой попала в глаз соломина, а потом три дня простоявшей в пыльном стойле. Слёзы шли не от вселенской скорби, а от банального воспаления, которое некому было заметить.

Тут магия потребовалась - самая простая, лекарская, из тех, что осваивают на первом году ученичества и потом шесть веков не вспоминают. Он снял воспаление одним касанием, как снимают пылинку с рукава.

Слёзы иссякли. Плакса-Сирота моргнула - судя по растерянности, впервые за очень долгое время - и уставилась на него, как существо, у которого отобрали единственное занятие в жизни.

- Плакать можешь и дальше, если нравится, - успокоил её Матвей, поднимаясь. - Только теперь по собственному желанию, а не потому что глаз чешется.

Уходя, он оглянулся. Изнаночная тварь, не ребёнок - это он знал твёрдо. Но сидела она ровно так, как сидят дети, которых забыли забрать, и это ему не понравилось отдельно, безо всякой магической причины.

Под скамейкой натекла лужица - конденсат, копившийся годами. В приличном хозяйстве такое собирали бы в бутылки и продавали алхимикам, а тут оно уходило в плитку. Впрочем, бесхозяйственность была в этом парке общим принципом.

Третьим пациентом оказался Плешивый Копошун - землеройная тварь размером с крупную собаку, с плешивой шкурой и скверным характером. Он выбрался из норы у самой ограды, оскалился, сделал два шага навстречу - и Матвей раньше оскала отметил главное: зверь шёл на трёх лапах, четвертую подволакивал.

- Стой, - сказал он, и Копошун, к собственному изумлению, остановился.

Дальше всё пошло по схеме, знакомой Матвею по практике на четвёртом курсе, а Лихославу - по шести векам примерно того же, только в других декорациях. Он присел, взял лапу, прощупал сустав, нашёл вывих - застарелый, но вправимый - и вправил одним коротким отработанным движением.

Копошун взвыл, отскочил, приземлился на все четыре, недоверчиво перенёс вес на больную лапу и, не найдя привычной боли, посмотрел на Матвея с выражением, для которого в человеческом языке слов не предусмотрено.

- На здоровье. Нору рой аккуратнее: вывих у тебя оттого, что грунт под тобой обваливается. Тут везде плитку клали по чертежу, а не по земле.

Он двинулся к центру парка - и тут началось то, что он предвидел с той минуты, как снял маскировку.

От пересохшего фонтана к нему потянулись Слепые Хапуны - мелкие, безглазые, юркие, реагирующие исключительно на блеск. Только блестели сейчас не монеты в чаше фонтана. Блестел он сам: для Хапунов его фон без маскировки сиял ярче любой драгоценности, когда-либо туда брошенной.

Их набралось десятка два. Они текли сплошным копошащимся ковром - взбирались на дорожку, обтекали скамейки, - и выглядело это, откровенно говоря, неприятно.

Матвей остановился, без тени тревоги на мгновение придавил фон обратно, чтобы блеснуть стало нечему, нащупал в кармане куртки пуговицу - ту самую, подобранную на борту - и запустил её через весь парк в противоположную сторону.

Пуговица блеснула в полёте и звякнула о плитку далеко за фонтаном.

Ковёр развернулся на блеск и утёк туда целиком за долю секунды, оставив дорожку пустой.

- Вот и поговорили, - сказал Матвей и пошёл к центру парка, где, как он уже понял, его ждала настоящая причина всего здешнего нездоровья.

Глава 5

Иней начался шагов за тридцать до центра.

Сначала он проступил на траве вдоль дорожки тонким неубедительным налётом, какой бывает в октябре перед рассветом. Через десяток шагов налёт превратился в корку, хрустнувшую под подошвой. Ещё через десяток трава перестала гнуться вовсе и ломалась, как проволока.

Матвей выдохнул. Пар пошёл ровным облачком.

- Двадцать восьмое июня, - сказал он ему вслед.

Фонари здесь горели вполнекала от прежнего вполнекала. Звук тоже сел: шаги стали глуше, будто их обматывали ватой на подходе к ушам. У поворота на центральную площадку Матвей остановился и посмотрел вперёд.

Фонтан был. Чаша, бортик, чугунная тумба посередине - всё на месте, всё вычищено до неприличия и всё покрыто инеем в палец толщиной. Воды не было ни капли.

А на чаше, свесив края через бортик и растёкшись по плитке метров на семь в стороны, лежало нечто.

Серое, полупрозрачное, вязкое на вид и совершенно неподвижное. Поверхность едва заметно колыхалась - не от движения, а как колыхнется студень, если стукнуть по столу в соседней комнате. Оно накрывало фонтан целиком, как ватное одеяло, спущенное с антресолей на диван: не обняло, не оплело - просто легло сверху всем весом и осталось.

Матвей подобрал обломок плитки и бросил в его сторону.

Обломок пролетел половину расстояния, замедлился, будто вошёл в кисель, и упал, не долетев. Иней на месте падения загустел на глазах.

- Ага.

Он обошёл площадку по внешней дорожке. С одной стороны от фонтана стояла скамейка, вмёрзшая основанием в плитку. С другой - фонарный столб в инее до половины, с лопнувшим плафоном. Под самым краем серой массы, там, где она сходила на нет, лежал чей-то ботинок - старый, растрескавшийся, явно пролежавший здесь не первый год.

Матвей посмотрел на ботинок, потом на массу, потом снова на ботинок.

- А вот это как раз не то, что ты подумаешь, - сказал он ботинку.

Он присел у самой границы серого и протянул руку, держа ладонь на палец над поверхностью. Секунд через пять ладонь начало тянуть - не болью, а медленной, уютной, обманчиво приятной тягой, с какой вытягивает тепло горячая ванна, если пролежать в ней лишний час.

Он убрал руку и растёр её о колено.

- Ты никого не ешь, - сказал он, разглядывая тварь, как разглядывают протёкший потолок на предмет размера пятна. - Ты просто лежишь.

Ледащий Ком. По каталогу - класс хозяйственно-опасный, медлительный хищник, вытягивающий тепло из зазевавшейся жертвы. По факту - вот это: туша размером с грузовую фуру, улёгшаяся на самую тёплую точку парка и, судя по инею, не сдвигавшаяся с неё никогда.

Матвей выпрямился и начал считать в обратную сторону.

Мохное с колтунами, которые годами никто не расчёсывал. Плакса-Сирота с воспалением, которого никто не заметил. Копошун с вывихом от проседающего грунта. Слепые Хапуны, сбегающие на любой источник, потому что своего в парке не осталось. Пересохший фонтан. Фонари вполнекала. Иней в июне.

Тварь лежала на узле - на той самой точке, откуда парк брал всё: свет, воду, тепло, само своё существование. И лежала достаточно давно, чтобы весь парк вокруг медленно, равномерно, без единой драмы зачах.

Это была не тварь. Это был пролежень.

- Ну что ж, - сказал Матвей, снимая куртку и вешая её на вмёрзшую скамейку. - Двигать будем.

Он зашёл с той стороны, где чаша давала упор, прикинул направление - к клумбе в двадцати шагах, где плитка кончалась и начиналась голая земля, - и упёрся.

Ком не шелохнулся.

Матвей отступил на шаг и посмотрел на тушу заново.

- Вес приличный, - признал он.

Со стороны это выглядело нелепо до полной потери жанра: молодой человек в рубашке посреди замёрзшего парка деловито перетаптывается вокруг семиметровой студенистой горы, примеряясь к ней с разных углов, как к платяному шкафу в узком коридоре. Пробовал от чаши. Пробовал от бортика. Один раз попытался поддеть край снизу, отдёргнул руку и минуту растирал пальцы.

С четвёртого захода он нашёл правильное: не толкать, а подцепить всю массу разом, вместе со слоем плитки, к которой она примёрзла.

Тут потребовалось усилие.

Не заклинание - их он мог бы применить штук шесть, одно эффективнее другого, - а именно усилие: голая сила без формы, ровная, продолжительная, без единого красивого жеста. Та, что шла не из мышц, а через сердце. Он поднял тушу целиком на ладонь от земли и пошёл, разворачивая её перед собой по воздуху, со скоростью человека, несущего полное ведро.

Плитка оторвалась вместе с Комом пластом и с треском осыпалась обратно.

На седьмом шаге сердце дало о себе знать - резко, отчётливо, коротким тычком под грудину, который ни с чем не спутаешь. Матвей остановился.

Ком висел в воздухе. Матвей держал его и дышал - медленно, считая про себя, пережидая.

- Не сейчас, - сказал он сердцу.

Досчитал до двадцати. Пошёл дальше, ещё медленнее, как человек, у которого ведро налито до самого края.

На клумбе он опустил Ком на голую землю - аккуратно, без стука - и отступил.

Тварь растеклась заново, никак не отреагировав ни на переезд, ни на нового соседа в виде сухого куста. Ей было решительно всё равно, где лежать.

А за спиной у Матвея затрещало.

Он обернулся.

Иней сходил с плитки волной - кругами от фонтана, стремительно, с сухим потрескиванием, как изморозь с оконного стекла, если поднести ладонь. Трава за ним распрямлялась. Фонари вспыхивали один за другим на полную, а в чугунной тумбе посреди чаши что-то утробно булькнуло.

Фонтан плюнул ржавой водой, закашлялся и пошёл.

Матвей снял куртку со скамейки - та уже оттаяла и просела на нормальную высоту - и надел: после инея было зябко.

- Вот так, - сказал он. - А вы говорите, чудовище.

Первой поехала плитка.

Матвей стоял у фонтана, глядя, как из тумбы толчками идёт вода - сначала ржавая, потом мутная, потом почти прозрачная, - когда под ногой у него что-то дёрнулось. Он отступил. Плитка, на которой он только что стоял, приподнялась, повернулась вокруг своей оси, легла обратно ровнее прежнего и замерла.

Соседняя сделала то же самое. За ней следующая.

По всей площадке пошёл частый сухой перестук: плитки выравнивались, подгонялись друг к другу, догоняя тот самый чертёж, по которому их когда-то положили криво. Дорожка на глазах становилась безупречной - и от этого куда неприятнее для ходьбы: швы сошлись в струнку, а уклон пропал вовсе.

- Началось, - сказал Матвей.

Кусты вдоль главной аллеи втягивались, принимая форму из плана озеленения. Скамейки разворачивались, отыскивая проектные места. Фонарные столбы, до сих пор стоявшие как попало, разом выпрямились по линейке и засветились одинаково ярко - впервые за всё время, что здесь кто-либо бывал.

Парк, получив тепло, принялся достраиваться.

А потом Матвей услышал забор.

Звук шёл со всех сторон сразу - низкий, деревянный, с подвыванием, как когда тяжёлый шкаф ведут по паркету. Ограда шла внутрь. Не росла вверх, не уплотнялась - надвигалась: доска за доской, секция за секцией, сжимая периметр ровным кольцом. Там, где она проходила, не оставалось ни аллей, ни клумб, ни скамеек - только выровненная земля и новая секция забора, тут же встававшая на место.

По-хорошему это должно было встревожить. Матвей прикинул скорость, расстояние и решил, что успеет с запасом минут в десять, а если не успеет - вопрос решится тем же способом, что и с Комом, только шумнее.

Он двинулся к выходу - и тогда услышал второй звук.

Тонкий, злой, с надрывом. Не вой и не рык - что-то среднее, срывающееся в сухой треск на верхней ноте.

Матвей остановился.

Звук шёл слева, из-под надвигающейся секции. Он развернулся и пошёл на него - против движения ограды, туда, где кольцо уже сомкнулось вплотную и продолжало сжиматься.

Между двумя слоями досок что-то билось.

Он присел и заглянул в узкую, в ладонь, щель.

На него смотрел череп.

Собачий, вытянутый, с провалами глазниц, в которых не было ничего - ни огня, ни свечения, ни прочей мистической требухи. Ниже угадывались рёбра, лопатка, передняя лапа - одна кость, ни лоскута плоти. Всё это было зажато между сходящимися секциями, и задняя половина уже ушла в доски по самый таз.

Череп раскрывлся и цапнул его за палец.

Матвей отдёргнул руку, осмотрел содранную костяшку и сказал:

- Понятно.

Он отступил на два шага и посмотрел уже не на собаку, а на забор, который её ел.

Доски шли внахлёст, слоями, подпёртые изнутри поперечинами. Костяная гончая застряла между третьим и четвёртым слоем и висела там, судя по состоянию костей, не первый день: часть рёбер сколота, лопатка треснула, задние лапы стёрты досками до опасной тонкости.

Лечить тут было нечего. Ни мышц, ни органов, ни крови - лекарская магия работает с живым, а живого здесь не было ни грамма. Только кость и то, что держало её вместе, - какая-то давняя, выцветшая привязанность к чему-то, чего в этом парке давно нет.

Безнадёжный случай. Ни один здравомыслящий человек за такой не взялся бы.

Матвей закатал рукава.

Он взялся за верхнюю секцию и повёл её вверх. Забор упёрся - не как доска, а как система, которой велели строиться и которая строится, невзирая ни на что. Давление пошло навстречу, ровное, тупое, всей массой периметра.

- Стоять, - сказал он.

Секция замерла. Соседняя, впрочем, продолжила идти.

Он перехватил её левой рукой, правой держа первую, - и тут стало не до комментариев. Забор шёл со всех сторон: стоило прижать здесь, начинало сминать там. Он держал. Кость под досками захрустела и заскулила.

Матвей выдохнул сквозь зубы, отпустил обе секции - и взял весь периметр целиком.

Не секцию. Не участок. Весь забор, кольцом, разом.
Стало тихо. Ограда встала.

Держать её было - как держать на весу чугунную крышку колодца, из тех, что вдвоём не поднять. Сердце пока молчало. Ненадолго. Значит, минуты три.

Он опустился на колено и начал разбирать доски одной рукой, слой за слоем, как разбирал колтуны Мохноеда: сверху вниз, без рывков, поддевая и отводя. Третий слой. Второй. Гончая рвалась, щёлкала челюстями, пыталась достать его через щель - не понимая, что происходит, зная только, что её держат и что рядом кто-то есть.

- Не мешай, - сказал Матвей. - Я и так тебя роняю.

На первом слое сердце вмешалось - тычком под грудину, сильнее прежнего, с длинной тянущей отдачей в левую руку.

Он не остановился. Сорвал последнюю доску - гвоздь напоследок выдрал клочок из локтя куртки, - подцепил гончую за грудную клетку (та немедленно вцепилась ему в голое предплечье чуть ниже закатанного рукава, прокусив кожу), выдернул из щели и отшвырнул в сторону вместе с собственной рукой: разжимать челюсти было некогда.

И отпустил забор.

Кольцо сомкнулось с треском за долю секунды. Там, где только что была гончая, встала глухая стена.

Матвей сел прямо на землю.

Сердце колотилось неровно, перед глазами шла рябь. На предплечье висела собака из одних костей и грызла его - молча, добросовестно, с полной самоотдачей.

- Всё, - сказал он, отдышавшись. - Отпускай. Спасён - не спасён, а руку верни.

Гончая не отпускала.

Она висела на предплечье всем костяным весом, упершись передними лапами ему в колено, и грызла - не яростно, а с обстоятельностью, с какой грызут по-настоящему хорошую кость. Челюсти работали ровно. Глазницы смотрели мимо.

Крови было немного: прокус неглубокий, зубы у неё сточились до тупого. Болело прилично.

- Слушай, - сказал Матвей. - Мне эта рука ещё пригодится. Мне ею вообще-то коров щупать.

Ноль реакции.

Он подождал ещё немного, потом взял её за верхнюю и нижнюю челюсть и просто развёл. Гончая протестующе скрипнула, разжалась и села, всем видом не понимая, почему её до сих пор не убили.

Матвей свёл края прокуса пальцами. Кожа сошлась. Повертел рукой к свету - следа не осталось. Хорошо: объясняться завтра ещё и за укус было бы совсем лишним.

Гончая наблюдала с интересом.

- Теперь ты, - сказал он и подсел к ней.

Вариантов было много, и в этом заключалась единственная сложность.

Некромантией он мог перебрать её всю, кость за костью, и собрать заново - чище, ровнее и прочнее, чем при жизни. Лекарской магией вместе с химерологией - нарастить мясо, жилы, кожу и выдать на выходе совершенно приличную собаку, с мокрым носом и всеми положенными потрохами. Работы на полчаса, и ни одна задача не сложнее, чем заштопать носок.

Матвей посмотрел на пациента и отложил обе.

Собрать заново - значит собрать своё, а не её: исправный костяк будет держаться его волей, а не собственным упрямством, и от гончей в нём останутся одни кости. Нарастить мясо - ещё хуже. Мясу нужно есть, дышать, спать и болеть, мясо стареет и просится в туалет, а взамен не даёт ничего, чего у неё нет сейчас. Она бежит, соображает и кусается - всё, что

собаке положено, уже работает. Нарращивать на исправную конструкцию лишние потроха ради приличного вида - не лечение, а вредительство.

Так что он взял артефакторику - единственное, что тут годилось. Кость - материал, конструкция - сборка, а трещины заделывают.

Треснувшую лопатку он свёл и прихватил. Сколотые рёбра нарастил - не тканью, а тем же веществом, из которого они были, взяв материал из воздуха: в этом парке его было навалом, и он всё равно пропадал зря. Дольше всего возился со стёртыми задними лапами - наращивал слой за слоем, как наплавливают металл.

Гончая сидела смирно. Один раз дёрнулась, когда он трогал таз, - и сама же прижала морду к земле, будто извиняясь.

- Вот так, - сказал Матвей через двадцать минут, отпуская её. - Проверь.

Гончая встала. Постояла. Сделала шаг, другой, потом сорвалась с места, пронеслась широким кругом мимо фонтана, развернулась на полном ходу - с сорванной лопаткой она бы так никогда не смогла - и затормозила в полуметре от его колена.

И тут Матвей заметил то, на что не обратил внимания, пока заделывал трещины.

Лопатка ходила свободно.

Не разболтанно - такое он бы сразу поправил, - а именно свободно: кость лежала на месте, работала как положено, но ни к чему не крепилась. Ни сустава, ни связки, ни хрящевой прослойки. Просто лежала рядом и почему-то не падала.

Он присел и взял гончую за переднюю лапу.

- Не дёргайся.

Лапа снялась.

Целиком, без усилия, как деталь с магнита, - и осталась у него в руке. Гончая посмотрела на собственную конечность в чужих пальцах с вежливым интересом и переступила оставшиеся тремя.

- Вот оно как, - сказал Матвей.

Он вернул лапу на место. Та встала с тихим костяным щелчком и снова начала держаться - не приросла, а именно держалась, потому что ей, судя по всему, этого хотелось.

Матвей сел на бортик фонтана, где вода уже посветлела, и посмотрел на гончую внимательнее, уже понимая, что видит.

Никакого скелета в анатомическом смысле тут не было. Была совокупность костей, которая держалась вместе исключительно потому, что ей хотелось держаться вместе, - той самой выцветшей привязанностью, оставшейся вместо всего остального. Потому и некромантия не цеплялась: поднимать было нечего, оно поднимало и складывало себя само, из чистого упрямства.

А раз оно само себя складывает - вопрос только в том, во что.

- Сложись, - сказал Матвей.

Гончая не поняла.

- Не рассыпсья, - уточнил он. - Сложись. Плотно. Всё в одно.

Она подумала. Потом легла, подобрала лапы, и кости поехали друг к другу - не в стороны, а внутрь, стягиваясь и укладываясь всё плотнее, пока собака не превратилась в неопрятный костяной ком размером с бочонок.

Ком лежал на плитке и ждал дальнейших указаний.

- Уже теплее. Теперь вытянись.

Ком дрогнул и потянулся вверх.

Кости пошли в столбик - позвонок к позвонку, ребро вдоль, лопатка плашмя, - укладываясь в узкую плотную сцепку, как дрова в поленницу, только куда аккуратнее. Через несколько секунд на плитке стояла палка.

Даже не палка - посох. Метра полтора, костяной, с рукоятью, в которой без труда угадывался таз, и с утолщением на верхнем конце, в котором при желании читался череп. Впрочем, глядываться надо было специально - так в глаза ничего не бросалось.

Матвей взял его и повертел. Посох был лёгкий, прочный и на удивление удобный. Он опёрся - держит.

- Ну вот. А теперь обратно.

Посох выпал из руки, ударился о плитку - и встал гончей, отряхиваясь, ещё до того, как Матвей успел убрать руку.

- Хорошо, - сказал он с неподдельным одобрением, каким за шесть веков удостаивал немногое. - Быстро.

Гончая завиляла хвостом - вернее, голой цепочкой позвонков, оставшейся от хвоста: при вилянии она издавала сухой дробный стук, как деревянные счёты.

- Ещё раз.

Она сложилась. Развернулась. Сложилась снова - теперь за полсекунды, явно входя во вкус.

- Хватит, - сказал Матвей, ловя посох на лету. - Наигрались.

Он прислонил посох к бортику и мысленно вычеркнул из списка проблему, ещё двадцать минут назад стоявшую там первым пунктом: как вывести с территории аэровокзала, наверняка уже оцепленной, собаку из одних костей.

Никак не вывести. Вынести. В руке.

Посох простоял смирно ровно четыре секунды, после чего упал, встал гончей и вцепился ему в сапог.

- Ну вот, - сказал Матвей.

Она грызла сапог, поглядывая на него снизу вверх с выражением, которого у существа без глаз быть не должно, - но оно было.

- Это, стало быть, у тебя благодарность, - сказал он. - А это, стало быть, диагноз.

Диагноз был очевиден. От неё остались кость и одна-единственная устойчивая привычка - грызть то, что рядом. Не по злобе, а по остаточной памяти о том, чем она когда-то занималась. Убрать эту привычку было невозможно: не болезнь и не порча, а всё, что вообще делало её ею. Убери - и останется просто набор костей, которому незачем складываться.

Читать мораль он не собирался. Никогда этим не занимался и не собирался начинать в две тысячи сто пятьдесят втором году - от чего бы тут его ни отсчитывали.

Он посмотрел на неё как на кандидата.

- Значит, так. Работа у тебя будет.

Гончая перестала грызть сапог и подняла голову.

- Оклада не обещаю, потому что ты не ешь, - продолжил он тем же ровным тоном, каким сутки назад предлагал обиженному речному божеству должность управляющего храмовым хозяйством. - Довольствие натурой: кости, доски, что по дороге попадётся. Уточняю: то, на что укажу я. Не то, что понравится тебе.

Она склонила череп набок.

- Пункт первый, он же главный: людей не грызём.

Гончая издала короткий скрипучий звук, который при желании можно было принять за возражение.

- Понимаю, - согласился Матвей. - Неудобно. Люди рядом, люди мягкие, у людей кости внутри, и это, допуская, раздражает. Тем не менее.

Он поднял палец.

- Уточняю формулировку, чтобы потом не было споров. Не грызём никого, кто ходит на двух ногах, разговаривает или носит форму. Особенно если носит форму: над ними начальство,

бумаги, комиссии, потом до конца жизни не отпишешься. Оно того не стоит, поверь человеку, который сегодня ночью три часа объяснял следователю про телегу с сеном.

Гончая слушала. Слова она вряд ли понимала, но безусловно понимала, что ей выдают правила и что тот, кто их выдаёт, за неё отвечает.

- Пункт второй. Указываю я. Молча - не значит можно. Понял - не значит догадался.

Он помолчал.

- Пункт третий, самый неприятный. Ты сейчас думаешь, что мы договорились. Ты не договоришься - ты согласилась. Согласие держится ровно до первого встречного, который понравится тебе на зуб. Так что это надолго. Я тебя не вылечу, - сказал он прямо. - Ни сегодня, ни через месяц. Это не вывих, это ты вся целиком. Будем держать.

Гончая подошла и села у его ноги, прижавшись костяным боком к сапогу.

- И пункт четвёртый. Снаружи ты палка.

Хвост отчётливо перестал вилять.

- Не обсуждается. Там люди, там форма, а к этому часу наверняка и оцепление. Собаку придётся объяснять, а палку - нет. С палкой я молодой человек со слабым сердцем после тяжёлой ночи - и это, между прочим, чистая правда.

Гончая посмотрела на него долгим взглядом существа, которому только что сообщили, что вся его дальнейшая жизнь - стоять прислонённым к стенке.

- Разворачиваться будешь по команде, - смягчил Матвей. - И, подозреваю, чаще, чем мне хотелось бы. Складывайся.

Она сложилась - неохотно, медленнее прежнего, всем видом показывая, что подчиняется под давлением.

Матвей опёрся на посох и поднялся. Опора и правда пришлась кстати: ночь была длинная, сердце после забора всё ещё ныло, а идти предстояло неизвестно куда.

Прежде чем идти, он сделал то, что шесть веков делал перед любой серьёзной работой, - прикинул смету. На Керне смет не существовало: Источник шёл через него, как река через широкое русло, и излишки приходилось стравливать на чужие поля. Здесь русло было одно - большой насос в чужой груди, и пропускал он ровно столько, сколько пропускал. Тонкой струйкой - почти без счёта: колтун, вывих, трещину в кости можно латать хоть до вечера. А большим куском разом - как Ком, как забор - насос потом требовал покоя, как загнанная лошадь, и сколько таких кусков он выдержит за сутки, Матвей проверять не хотел. Сегодняшние два, по ощущениям, съели почти всё. Значит, до завтра - только мелочью: подтолкнуть, придержать, дожать то, что и так падает. Правило неприятное, зато простое. Он внёс его в список первым пунктом.

Вторым, сразу под ним, встал пункт куда менее магический. Судя по тому, сколько он тут провозился, к восьми, к междугороднему телефону, он не успевал. Мать подождёт ещё час. Ждать она, если верить памяти Матвея, умела лучше всех в Гусевке - потому-то и не хотелось её заставлять.

Он обвёл взглядом парк. Забор стоял ровным кольцом там, где сомкнулся: периметр вышел вдвое меньше прежнего, но парку было безразлично - фонтан работал, фонари горели, кусты приняли проектную форму. У самой ограды, в своей клумбе, лежал Ледащий Ком и выстуживал два квадратных метра сухой земли.

Дело было сделано, а выход - где-то рядом. Матвей прислушался.

Фон истончался у дальнего края площадки, за перевёрнутой урной: воздух там на глазах становился жиже.

- Пошли, - сказал он посоху и направился к выходу, постукивая по новенькой плитке тем, что полчаса назад пыталось отгрызть ему руку.

Глава 6

В коридоре административного крыла горел весь свет, какой был.

Включили его час назад, по команде дежурного, и лучше от этого не стало никому. При полном освещении выяснилось, что стены выкрашены в два оттенка бежевого - верх светлее, низ темнее, - и граница идёт волной, потому что малярную ленту в своё время клеили на глаз. Под потолком обнаружилась паутина. У плинтуса - след от давно убранного шкафа.

Тетерев стоял в трёх шагах от конца коридора, там, где сходились две одинаковые двери. Вернее, теперь там была одна дверь и кусок ровной стены.

- Ещё раз, - сказал он.

Конвоир сглотнул.

- Я ему сказал: может, в уборную перед выходом. Он пошёл. Я остался у поворота.

- У какого поворота.

- Вон у того. - Конвоир показал. - Я оттуда весь коридор вижу.

- Видите?

- Вижу.

- Проверим.

Тетерев поставил конвоира на то самое место у поворота, а сам прошёл в конец коридора и встал у дверей.

- Меня видно?

- Видно, - донеслось от поворота.

- Целиком?

- Целиком.

Тетерев вернулся.

- Ещё раз. С момента, как он пошёл.

- Он пошёл, - сказал конвоир. - Медленно так, качало его. Дошёл до конца, постоял. Там двери две, обе без табличек, он и встал выбирать.

- Долго стоял?

- Секунд десять. Может, пятнадцать.

- Что делал?

- Ничего. Стоял. Головой повёл - то на одну, то на другую.

- Дальше.

- Дальше взялся за левую. Я как увидел, крикнул: не та дверь.

- Почему крикнули?

Конвоир моргнул.

- Так уборная-то правая.

- Вы точно знаете, что левая - не уборная?

- Так я тут третий год хожу.

- Что за левой?

Пауза вышла длиннее, чем следовало.

- Не знаю, - сказал конвоир.

Тетерев промолчал. Достал служебный блокнот с типографским грифом в углу, записал две строчки и убрал обратно.

- Дальше.

- Дальше он открыл.

- Как открыл?

- Как открывают. За ручку.

- Рывком? Осторожно? Заглянул сначала?

- Не заглядывал, - сказал конвоир, подумав. - Просто открыл и зашёл. Как к себе домой.
- И вы побежали.
- Побежал.
- Сколько до двери шагов?
- Ну... шесть. Семь.
- Успели?

Конвоир опустил глаза.

- Нет.
- Что видели, пока бежали?
- Свет.

Тетерев поднял голову.

- Какой свет?
 - В проёме. - Конвоир неопределённо повёл рукой. - Не как из лампочки. Рябое такое.
- Как... - Он поискал слово и не нашёл. - Как вода в тазу, если по нему стукнуть.

- Дверь закрылась сама?
- Сама. Я до неё сантиметров тридцать не достал. Она хлоп - и всё.
- И?
- И стена.

Тетерев подошёл к стене и в третий раз за утро положил на неё ладонь.

Штукатурка. Холодная, слегка шершавая, с облупленным пятном на уровне плеча - пятно было здесь вчера, позавчера и, судя по виду, ещё при том начальнике аэропорта, которого сняли за перерасход по ремонту. Он провёл рукой сверху вниз. Ни шва, ни уступа, ни малейшей разницы в фактуре с соседним участком, где стену не трогали отродясь.

Постучал костяшкой. Потом ребром ладони. Потом взял со стола дежурного линейку и простучал весь участок сверху донизу через каждые десять сантиметров, вслушиваясь.

Звук был одинаковый. Глухой, плотный, кирпичный.

- Плотников, - сказал Тетерев в сторону.

Подошёл дежурный.

- План здания.

План принесли через четыре минуты - сложенную вчетверо синьку с протёртыми на сгибах дырками. Тетерев разложил её на подоконнике и нашёл административное крыло.

Коридор на плане был тупиковый. В конце - одно помещение, обозначенное как «сан. узел». Одно.

- Здесь две двери, - сказал Тетерев.
- Так точно, - сказал дежурный.
- На плане одна.

Дежурный посмотрел на синьку, потом на коридор, потом снова на синьку.

- Вторую, наверное, позже сделали.
- Когда?
- Не могу знать.
- Кто может?
- Хозяйственная часть, но они с восьми.

Тетерев посмотрел на часы. До восьми оставался час с лишним.

Он сложил синьку и открыл правую дверь - настоящую. Внутри было ровно то, что полагось: две кабины, раковина, окно с матовым стеклом и решёткой снаружи. Он проверил обе кабины - пусто. Подёргал решётку - сидит намертво, краска на болтах не тронута. Выглянул в щель приоткрытой двери и убедился, что от поворота его видно.

Вышел. Закрыл.

Потом медленно прошёл коридор, ведя рукой по стене, - весь, от поворота до тупика, метр за метром, включая участок, где на плане значился сплошной кирпич. Развернулся и прошёл обратно по другой стене.

Дверей было две. Теперь одна.

Второго выхода нет. Окно зарешёчено снаружи, решётка не тронута. Коридор просматривается с поворота целиком, и на повороте всё это время стоял человек, который третий год ходит здесь каждый день и знает, где уборная.

Тетерев остановился посреди коридора.

За восемнадцать лет службы ему попадались вещи куда менее объяснимые, чем исчезновение свидетеля, и почти все они объяснялись тем, что кто-то соврал, кто-то недосмотрел, а кто-то искал не там. Он честно отработал все три версии. Конвоир не врал: врущие не путаются четыре раза подряд одинаково. Недосмотра не было: коридор простреливается взглядом весь. Искал он именно там, где нужно.

Оставалось четвёртое.

- Дежурный, - сказал он, не поворачивая головы.

- Я.

- Отдел борьбы с бытовыми проколами. Вызывайте.

Дежурный не сразу понял. Потом понял и посмотрел на стену.

- Здесь?

- Здесь, - сказал Тетерев. - В коридоре, по которому вы ходите каждый день с восьми утра.

Он ещё раз оглядел облупленное пятно на уровне плеча, подумал, что мимо него за последние сутки прошло человек сорок личного состава, включая его самого, и добавил, ни к кому конкретно не обращаясь:

- И чаю не надо. Спать всё равно уже не лягу.

Оцепление встало за двадцать две минуты.

Тетерев засёк время по привычке и потом ещё долго возвращался мыслью к этой цифре: двадцать две минуты на круг радиусом двести метров, с перекрытием хозяйственного двора, куса лётного поля, двух служебных проездов и грузовой площадки. По нормативу полагалось сорок. Люди работали быстро, чётко и с явным удовольствием - потому что тут было понятно, что делать.

К половине восьмого вокруг административного крыла стояла цепь: надзорные через каждые полсотни шагов, старшие по секторам, журнал учёта у каждого второго. Грузчикам объявили, что проезд закрыт. Двум рейсам сдвинули выкатку. Начальнику смены выдали предписание, и он расписался, не читая.

- Красиво, - сказал Тетерев дежурному, глядя на всё это из окна второго этажа. - Когда прибудет бригада?

Дежурный замялся.

- Бригада пока не выедет.

Тетерев обернулся.

- Почему?

- По бытовым бригада без дежурного не выезжает. Дежурный определит разряд - тогда решат.

Дежурный по бытовым проколам приехал в семь сорок.

Приехал он на служебном мотороллере, отстегнул от багажника брезентовую сумку, поднялся на второй этаж и предъявил удостоверение: Пряхин Сергей Павлович, дежурный по бытовым проколам, Енисейское губернское отделение, восемнадцатый год службы.

- Где? - спросил Пряхин.

Его отвели вниз.

Он посмотрел на стену и достал из сумки прибор - не тот большой, на треноге, что стоял у трапа, а маленький, карманный, с одной стрелкой и вовсе без циферблата, только с рисками. Повёл им вдоль стены. Стрелка дёрнулась дважды и успокоилась.

- Четвёртый разряд, - сказал он. - Свежий. Сутки, может двое.

- Прибор карманный, - заметил Тетерев.

- По четвёртому разряду большой не выдают. - Пряхин убрал прибор. - Не положено по нормативу оснащения. Да он тут и не нужен, если честно: четвёртый разряд карманным берётся точнее, у большого шкала грубая, он на разломы рассчитан.

Тетерев помолчал.

- В этом здании вчера принимали захваченный борт. Сто девять пассажиров, экипаж, трое задержанных. Всю ночь тут работало Благочиние.

- Ну, - согласился Пряхин.

- И никто не заметил прокол в коридоре.

- А кто должен был? - пожал плечами Пряхин. - Четвёртый разряд не фонит. Большим прибором его от стены не отличишь, а карманный есть у меня и ещё у двух сменщиков на всю губернию. Мы по вызовам ездим, а не по зданиям ходим.

Он достал моток синей ленты и заклеил стену крест-накрест - два длинных куска от угла к углу, аккуратно разгладив пузыри ладонью. Ладонь он вёл медленнее, чем требовала лента.

- Это что? - спросил Тетерев.

- Обозначение. По инструкции.

- Это изолента.

- Лента сигнальная, - поправил Пряхин. - Для обозначения мест локальных нарушений границы. Поставки прекратили в сорок седьмом, беру в хозмаге, разницы никакой. Снаружи, на торце, тоже наклею: по инструкции обозначение дублируется с внешней стороны.

Тетерев коснулся стены там же, где только что прошла ладонь Пряхина, - и на долю секунды упёрся пальцами не в штукатурку, а во что-то упругое перед ней. Потом штукатурка вернулась. Он убрал руку и отложил это туда же, куда за ночь сложил всё остальное, что пока не годилось ни для какого вывода.

Пряхин заполнил на подоконнике бланк, расписался и протянул Тетереву.

- Распишитесь тут. И тут.

Тетерев расписался.

- Теперь входим, - сказал он.

Пряхин посмотрел на него с сочувствием.

- Куда?

- Внутрь.

- Так нельзя.

- Почему?

Пряхин вздохнул и полез в сумку в третий раз. Оттуда явилась брошюра - тонкая, в мягкой обложке, зачитанная до бахромы, с закладками из трамвайных билетов.

- Пункт одиннадцатый, - сказал он, открыв нужную страницу. - «При нахождении внутри прокола человека либо группы лиц вход блокируется до момента их выхода либо до момента прекращения их существования. Группа лиц, вошедшая сцепкой, рассматривается как одно лицо».

- То есть?

- То есть пока он там, туда никто не войдёт. Никак. Ни вы, ни я, ни бригада, ни столичная комиссия. Физически.

Тетерев взял брошюру и прочитал пункт сам. Потом ещё раз.

- А когда он выйдет?

- Прокол откроется заново.

- Здесь?

- Не обязательно. - Пряхин ткнул пальцем в следующий пункт. - Двенадцатый. В радиусе двухсот метров от исходной точки. Где именно - не знает никто. Поэтому у вас оцепление на двести метров, а не на дверь.

- Двести метров - это хозяйственный двор, половина грузовой площадки и кусок полосы.

- Совершенно верно.

- И мы там стоим и ждём.

- По инструкции - да.

- Сколько?

Пряхин захлопнул брошюру.

- Сколько он там пробудет.

Совещание собрали в восемь пятнадцать в кабинете начальника смены - для кабинета Тетерева народу было слишком много. Присутствовали: сам Тетерев, дежурный, Пряхин, старший по оцеплению, представитель аэропортовой администрации и начальник губернского отделения - по телефону, аппаратом на столе, динамиком вверх.

Протокол вёл секретарь.

- Повторите ещё раз, - сказал динамик.

- Войти невозможно, - сказал Тетерев. - Пока он внутри, вход закрыт. Выйдет - откроется в неизвестной точке в радиусе двухсот метров.

- Бригаду вызывали?

- По четвёртому разряду бригада не выезжает.

- Правильно, - одобрил динамик. - Незачем гонять людей. У нас на прошлой неделе третий разряд в Минусинске, там двое в больнице. Вот там бригада.

Тетерев промолчал.

- А если его попросить выйти? - сказал динамик.

В кабинете стало тихо.

- Попросить, - повторил Тетерев.

- Ну да. Он же там живой, надо полагать. Если бы не живой, прокол бы уже открылся, вы сами сказали. Значит, живой. Значит, может выйти.

- Мы не можем ему ничего сказать. Связи нет.

- А если громко?

Секретарь записывал.

- Он за границей мира, - осторожно сказал Пряхин. - Оттуда не слышно.

- А вы пробовали?

Пряхин открыл рот и закрыл.

- Запишите, - сказал динамик секретарю. - Поручить дежурной службе по бытовым проколам проработать вопрос о возможности установления голосового контакта с лицом, находящимся внутри прокола, в целях побуждения указанного лица к самостоятельному выходу с последующим обеспечением доступа спасательной группы.

Секретарь записал.

Тетерев смотрел в стол.

- И вот ещё что, - сказал динамик. - Кто он вообще такой, этот ваш пропавший?

Дежурный зашуршал бумагами. Тетерев не стал помогать, хотя анкету мог бы продиктовать и сам.

- Бобров Матвей Иванович, двадцать три года. Свидетель по делу о захвате борта. Боярин, род мелкий, Енисейская губерния.

- Свидетель - это ничего страшного. Свидетелей у нас сто девять.

- Он выпускник Московской ветеринарной академии, - добавил дежурный, дочитав страницу. - Казённое отделение. Обязан отработать по специальности в родной губернии. Три года.

Пауза в динамике вышла заметная.

- Казённое?

- Так точно.

- То есть за него платили.

- Так точно.

- Так что же вы сразу не сказали, - сказал динамик уже другим тоном. - Уведомляйте губернское управление. Немедленно. Это уже не пропажа свидетеля, это утрата подотчётного специалиста.

Тетерев поднял голову.

- Утрата подотчётного специалиста, - повторил он.

- Именно. Теперь его будут искать как следует.

Совещание закончилось в восемь сорок. Тетерев вышел в коридор, где на стене крест-накрест синела лента, за окном стояло образцовое оцепление, а по двору ходили сорок человек, которым наконец объяснили, что они ищут.

Искали они казённые деньги.

Комната, где он полночи допрашивал Боброва, при утреннем свете оказалась ещё меньше, чем ночью. Лампа под потолком горела ровно и без всякой нужды. Табуретка напротив стола - та самая, на которой свидетель просидел три часа, - стояла на треснувшей плитке и качалась. Как этот везунчик ни разу на ней не качнулся, оставалось только гадать.

Тетерев сидел здесь с восьми сорока.

Из окна было видно секторов пять: надзорные через полсотни шагов, старший обходит линию, у ворот хозяйственного двора двое проверяют накладные у грузовика, который всё равно никуда не поедет. За полчаса картина не изменилась ни на человека.

Он отвернулся от окна и придвинул папку.

Дело о захвате борта номер шестьсот двенадцать, Москва - Красноярск, ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое июня. Сто девять пассажиров, шесть человек экипажа, трое задержанных. Восемьдесят четыре листа за ночь - и это не считая того, что подошьют сегодня.

Он начал с первого листа.

Читал он не так, как читают следователи, - не выискивая противоречий и не помечая карандашом. Читал подряд, медленно, как чужую книгу, страницу за страницей, не пропуская даже сопроводительных записок, в которых никогда ничего не бывает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.